ВРЕМЯ И МЕСТО

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выпуск 3 (31)

Нью-Йорк, 2014

ВРЕМЯ И МЕСТО
Международный литературно-художественный и общественно-политический журнал

VREMYA I MESTO
International Journal of Fiction, Literary Debate, and Social and Political Commentary

Copyright © 2014 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by Oleh Denysenko

Design and layout by *Alex Loskutov (Art40 Design & Print)*

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews, without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, please call 718-815-5000 or send an email to olga@flockusa.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN: 978-0-9793240-8-6

Редакция не рецензирует присланные материалы и не гарантирует их публикацию.

Printed in the United States of America

Игорь Шихман, ***издатель и главный редактор (США)***

Редакционная коллегия:
Давид Гай – *зам. главного редактора* (США)
Ирина Басова *(Франция)*
Марк Вейцман *(Израиль)*
Руслан Галазов *(Испания)*
Нина Генн *(США)*
Максуд Ибрагимбеков *(Азербайджан)*
Надежда Кожевникова (США)
Давид Маркиш *(Израиль)*
Владимир Некляев *(Беларусь)*
Андрей Остальский *(Англия)*
Александр Половец *(США)*
Георгий Пряхин *(Россия)*
Семен Резник *(США)*
Михаил Румер-Зараев *(Германия)*
Марк Черняховский *(США)*

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ.....

ПРОЗА
ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ
К югу от Вирджинии.....

ДАВИД МАРКИШ
Один……

ИСААК ФРИДБЕРГ
Фанни (окончание).....

ПОЭЗИЯ
ГЕННАДИЙ КАЦОВ

ГАРИ ЛАЙТ

ЛАРИСА ИЦКОВИЧ

ГЕРМАН ГЕЦЕВИЧ

МИХАИЛ БРИФ

РЕМИНИСЦЕНЦИИ
МАРК ВЕЙЦМАН
Былое и люди.....

СУДЬБЫ
РОМАН СОЛОДОВ
Бог держал над ним руки……..

ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ
ВЛАДИМИР ФРУМКИН
Кто мы есть? За что нам это?.....

ЮРИЙ ОКУНЕВ
Некто Розинер……

САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
АЛЕКСАНДР МАТЛИН
Эм-Би-И…….

АВТОР ОБЛОЖКИ
Олег Денисенко…….

К ЧИТАТЕЛЯМ

Любопытное сообщение обнаружил я в интернете. Оказывается, число американцев, не прочитавших ни одной книги за последний год, *существенно меньше* аналогичного показателя в России. “Что касается аудитории, то, по сравнению с американцами, на сегодняшний день всё выглядит не в нашу пользу: американцы являются более читающей страной, и здесь число не прочитавших в год ни одной книги – 23%. В России этот показатель 44%”.

Таковы данные, обнародованные координатором проекта “ФОМ-открытый мониторинг” Екатериной Кожевиной.

Вот оно как! Сколько лет нас убеждали, что Советский Союз, а позже Россия – самая читающая страна в мире, а значит, самая духовная. Запад же мало читает, а потому бездуховен. Оказывается, все наоборот… Впрочем, глубокомысленные рассуждения об особой духовности россиян, которыми прокремлевские идеологи пичкают сегодня общество, далеко не у всех находят соответствующий отклик. Многие под духовностью понимают не только начитанность, но совокупность качеств и устремлений народа, прежде всего, человечность, гуманность, толерантность, уважение прав личности, а по этим параметрам сравнение России с Западом, увы, не в пользу первой.

Однако стоит проанализировать, что же вообще читают россияне, какой литературе отдают приоритет. Предпочтение – “романам о любви” и детективам, говорится в отчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенном на сайте центра. По художественному уровню книги эти невзыскательны, или попросту примитивны.

“Романы о любви” выбирают для чтения 13% опрошенных, также привлекают детективы: зарубежные (9%), "русские женские" (9%) и отечественные детективные боевики (8%). Востребованы также книги по истории. Классику и современных авторов *серьезной* художественной литературы читают гораздо меньше…

Основная читательская масса – женщины молодые и средних лет.

К чему я все это рассказываю? Многие русскоязычные читатели-иммигранты тоже любят *женские* романы, детективы и боевики – как правило, для чтения в метро и автобусах по дороге на работу и обратно, дабы скоротать время поездки. Тогда, может быть, стоит и в нашем журнале публиковать вещицы на потребу, “а ля Донцова”, например? Глядишь, и тираж увеличится…

Я как издатель придерживаюсь иного взгляда, и редколлегия со мной солидарна. Мы стремимся отбирать для публикации тексты, удовлетворяющие самым высоким литературным требованиям. Не всегда получается, но стремление к этому присутствует. Критерий качества – вот что главное, и, судя по вашим откликам, друзья, вы нас в этом поддерживаете.

Литературные журналы иммиграции многие десятилетия печатали замечательные произведения, становившиеся предметом советского самиздата, пробивали брешь в глухом молчании скованных цензурой московских и периферийных изданий. Времена жесткого нажима и просто *диктата сверху*, самоцензуры (к глубокому сождалению) возвратились в Россию и уже затрагивают рынок периодических литературных изданий и книжный рынок в целом. Мы же в Америке свободны от подобного давления, и потому призваны “держать марку”.

Игорь Шихман, издатель и главный редактор

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

К ЮГУ ОТ ВИРДЖИНИИ

Фрагмент романа

Мы впервые знакомим наших читателей с творчеством живущего в США писателя Валерия Бочкова. Он удостоен престижной российской "Русской премии" 2014 года в категории "Крупная проза".
Его роман "К югу от Вирджинии", фрагмент которого мы публикуем, – психологический триллер. Главная героиня Полина Рыжик, выпускница престижного Колумбийского университета в Нью-Йорке, получает приглашение на работу учительницей литературы в захолустную школу где-то на юге, в штате Теннесси. Городишко называется Данциг. Жизнь здесь пришлась по душе Полине, люди приветливы и открыты, ритм нетороплив. Население, по большей части, выходцы из Германии, директор школы Галль, он же проповедник местной церкви, симпатизирует новой учительнице, помогает ей на первых порах освоиться с новой ролью. Город, по американским меркам, древний, тут даже есть своя легенда про сожжённую триста лет назад ведьму, которая и сегодня якобы появляется в образе волчицы. На берегу озера находят труп бродяги со следами укуса на горле, местный шериф пытается замять дело. Отношения с выпускным классом складываются у Полины непросто. Настораживает Хильда, умная и циничная девица, она пользуется авторитетом среди подростков. От неё Полина узнаёт о загадочном исчезновении своей предшественницы Лорейн Андик…

1

Серьги из желтой железки напоминали тощих рыбок, в глазах краснели бусины, чешуйки неровными дугами были отчеканены на выпуклых боках. Полина приложила одну серьгу к уху, протиснулась к маленькому зеркалу, мутному и неудобному. Сложив губы уточкой, подвигала бровями. Продавщица, молодая, с грязноватой челкой на глазах, умирая от скуки, отколупывала лак с ногтей. Она изредка поглядывала на Полину. Больше в лавке никого не было.
Полина взглянула на часы, нужно было убить еще двадцать минут. Она опустила рыбок на стекло прилавка, те звякнули, девица лениво спросила:
– Берете?
Полина отошла, сделала неопределенный жест, всматриваясь в слепые корешки антикварных книг: Гете, Шекспир, рядом стоял путеводитель по Турции. Она вытащила Шелли начала века, бережно пролистав сухие страницы, чайные по периметру, и светлеющие к середине, поставила том обратно. Провела пальцем по бугристому корешку с остатками позолоты. Было бы здорово такую книгу подарить Саймону.
– А русских авторов нет? – Полина повернулась к прилавку. – Толстой, там...
Девица поглядела на нее из-под челки:
– Я про это не в курсе. Сережки брать будете?
Полина прищурилась, положила рыбок на ладонь, те в ответ поглядели лукавым глазом. Отступать было поздно – она кивнула.
– Вам завернуть? – чуть оттаяв, почти вежливо спросила девица. – У нас подарочная упаковка. Блестящая, вот смотрите. И бесплатно. – Она была уверена, что Полина одна из

тех нищих задрыг, которые все перероют, перемеряют, а после так и уйдут, ничего не купив.
– Спасибо, я их сейчас... – Полина, зажав сумку подмышкой, вытащила из мочек маленькие фальшивые бриллианты, сунула их в джинсы. – Я их прямо сейчас...
Продавщица, подцепив ногтем ценник, прилепила его себе на руку, ткнула пальцем в кассовый аппарат. Тот радостно звякнув, выплюнул чек.
Полина вышла из лавки, пружина захлопнула дверь. Магазин был зажат между прачечной и мексиканской харчевней. Из обжорки воняло жареным луком, а из мрачного нутра прачечной несло химической свежестью. Полина поглядела на часы, закурила. Еше десять минут. Прошлась, искоса поглядывая в отражение витрины. Поправила волосы, выдула тонко дым.
Солнце вспыхнуло, выскочив из толкотни облаков, которые неслись по диагонали вверх. Другая сторона улицы утонула в синем, дорогу с пыльным бульваром посередине, перечеркнули полосы света. У столба остановился красный седан с открытым верхом, Полина, быстро спрятав руку за спину, уронила окурок на асфальт.
– Опять? – Саймон сделал строгое лицо. – Ведь договорились!
Он дотянулся и приоткрыл дверь. Полина кинула сумку назад, там было крошечное сиденье, очевидно, рассчитанное на карлика или пару мелких детей.
– Вот! – она покрутила головой, сверкнув рыбками. Чмокнула Саймона в скулу.
– Блесна. На щуку? – он резко воткнул передачу и дал газ.

До Саймона у Полины был Грэг. Он тоже учился в Колумбийском, только на международных отношениях. Грэг относился к старомодному типу, в университете таких было немало, казалось, что все они – холеные, румяные, с опрятной скобкой на крепкой шее состоят в родстве, что все они ходили в одну и ту же частную школу в Новой Англии и до сих пор, по привычке, одеваются в темно-синие блейзеры с гербом на кармашке. Рубашки бледных расцветок, лимонные и голубые, иногда розовые, аккуратно заправлены в серые штаны под тонкий ремень с латунной пряжкой.
Грэг оказался скучноватым педантом, впрочем, внимательным и нежным. В постели у него отчаянно потели бедра и икры, удивительно волосатые, при полном отсутствии растительности на бледной костистой груди. Он предпочитал одну позу – сверху, двигался осторожно, будто боясь там что-то повредить. Впрочем, он был достаточно ритмичен, а главное, неутомим и напоминал Полине опытного чистильщика сапог. Она иногда ловила себя на том, что мысли ее утекали из спальни куда-то вдаль и там бродили в безмятежной скуке. Она пыталась внести разнообразие в процесс, но, не встретив одобрения, постепенно сдалась. На носу маячила защита диплома, потом выпуск, а в ее постуниверситетские планы Грэг уже не входил.
В конце марта, неожиданно жаркого в эту весну, они стояли у гуманитарного факультета и ели подтаявшее мороженое. Полина при этом умудрялась курить, подавшись вперед и стараясь не закапать юбку. Грэг с кем-то поздоровался, Полина повернулась. Грэг представил ее. Профессор Саймон Лири пожал ей руку, крепко, чуть задержав ее ладонь в своей. Она смутилась, от мороженого ее рука была липкой.
Профессору было за пятьдесят – старая гвардия, знакомая ей по родительскому дому в Нью-Джерси. Отцовские приятели, важные и неторопливые: покер, сигара, скотч в толстом стакане, иногда они оказывались остроумными, порой даже симпатичными. Но главное – запах, эта смесь горького табака, виски и пряного одеколона, этот дух вносил в

мир порядок. Иногда под Рождество Полина получала от них десятидолларовые купюры. Эти мужчины знали жизнь, они твердо стояли на ногах и серьезно относились к своим удовольствиям: покер, рыбалка, скотч, сигары. Они знали цену справедливости. В них угадывалась основательность и надежность, таким вполне можно было доверить управлять миром.

Профессор Саймон обладал вкрадчивым голосом, седые виски переходили в жесткую пегую шевелюру, на подбородке гнездилась ямочка, которую (как Полина узнала потом) невозможно было чисто выбрить. В своем твидовом пиджаке с замшевыми локтями, вельветовых мешковатых штанах болотного цвета, мордатых ботинках свиной кожи, он производил то самое впечатление надежности и напоминал ей старый отцовский саквояж, может, не такой стильный, но уж зато прочный и удобный для путешествий на любую дистанцию.

Полина отчего-то смутилась, на вопрос ответила сбивчиво, что диплом у нее по русской литературе, по Льву Толстому. Профессор хитро улыбнулся и, чуть помешкав, произнес:

– Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Акцент у него был жуткий, но впечатление на Полину профессор произвел. Грэг русского не знал, но тоже улыбался и довольно потирал ладони. Через неделю Грэг уехал в Европу.

Профессор Лири читал курс по истории холодной войны и еше что-то про распад коммунистического блока. Полина политикой не интересовалась, поэтому в аудиториях они не встречались. На кампусе он ей безразлично кивал или делал вид, что не замечает. Вообще, профессор соблюдал осторожность, встречались они в условном месте за пять кварталов вверх по Бродвею. На углу Сто тридцать шестой улицы, у антикварной лавки с синей дверью. Полине нравилась скрытность их связи, таинственность казалась ей романтичной и переводила Полину в разряд взрослых. У нее теперь был не просто парень, у нее появился настоящий любовник.

Хотя и здесь амурные дела обстояли не совсем гладко. Профессор предпочитал говорить, он обожал, когда его слушают. Полина слушала. Профессор мог часами рассуждать о том, что именно информация убила коммунизм, что роль Горбачева в перестройке минимальна – изменения диктовались экономикой, что Рейган просто дурак и посредственный актер, случайно угодивший в президенты.

Профессор говорил, когда готовил, обычно он стряпал что-то итальянское: равиоли с грибами, сицилийские баклажаны, моцарелла с томатами, макароны с пармской ветчиной. Готовил Саймон артистично, смело импровизируя, – на кулинарные рецепты он плевал.

– Для настоящего маэстро они лишь руководство к действию, – говорил профессор. – Рецепт есть догма, а догма убивает творчество.

Щедро добавляя оливковое масло, он сыпал соль, перец и специи на глаз, не забывая отхлебнуть «кьянти» из бокала. С поварской ловкостью шинковал петрушку и базилик, иногда перебивая сам себя восклицаниями типа «бениссимо» и «магнифико». Еда получалась действительно вкусной.

Профессор подбирал Полину у антикварной лавки и обычно вез к себе на Ист-Сайд. За такую квартиру запросто можно было заложить душу дьяволу: с мраморным холлом и швейцаром, квартира была на двух уровнях, в гостиной три сводчатых окна выходили на Пятую авеню, слева виднелась колоннада музея Метрополитен, справа зеленой горой вставал Центральный парк. Если лечь в ванну, то в круглое окно были видны верхушки

небоскребов Мидтауна. Самое удивительное, что в этой квартире никто не жил, иногда ключи выдавались проезжей родне или друзьям, посещающим Нью-Йорк.
Ребекка Лири предпочитала жить за городом, в Вестчестере. Эта квартира казалась ей тесной, город шумным, народ суетливым и неприятным. Ребекка много путешествовала. Она считалась специалистом по Дюреру и немецкому Ренессансу в целом, ее приглашали на всевозможные конференции и прочие мероприятия околохудожественного характера. В спальне стояла фотография, которую профессор каждый раз незаметно поворачивал к стенке. Там Ребекка снялась на фоне какого-то готического собора, Полина иногда разглядывала ее лицо и совершенно не могла представить эту холеную, высокомерную суку рядом с милым Саймоном. Сам профессор говорил, что их семейные отношения давно эволюционировали в дружеское партнерство, при этом Саймон грустно улыбался и гладил Полину по колену. Полина верила и отчасти даже жалела искусствоведку.
Полина понимала тупиковость отношений с профессором, этим апрелем ей исполнилось двадцать четыре, она все еще считала себя достаточно молодой и будущая жизнь с вероятными детьми и предполагаемым мужем виделись Полине расплывчато и в общих чертах. Гораздо больше ее занимало трудоустройство после получения диплома, впрочем, ясности здесь тоже не было.
Профессор был в отличной форме, разумеется, для своего возраста. Когда он садился на край кровати и стягивал носки, кожа собиралась в складки, отвисала в неожиданных местах. Особенно уродливыми казались ступни ног, желтые, словно из воска, с корявыми бледными ногтями. На бедре темнело родимое пятно размером с маслину, а от пупка по диагонали вверх тянулся шрам. История шрама так никогда и не прояснилась, Саймон уклончиво ответил, упомянув Ленинград и какого-то Герхарда. Именно тогда Полина решила, что Саймон не всегда был всего лишь профессором.
Любовником он оказался торопливым, иногда эгоистичным, Полине казалось, что Саймон обычно пытается поскорее покончить со всей этой постельной канителью и перейти к действительно приятным делам: к вину, ужину, к разговорам. Но старая школа брала свое – он каждый раз собственноручно раздевал ее, ловко расправляясь с застежками, молниями и крючками, после подолгу занимался ее грудью. Грудь Полины действительно заслуживала внимания, тем более, что, судя по фотографии, профессорше похвастать особо было нечем.

От антикварной лавки Саймон всегда гнал по Бродвею, раскручивался вокруг статуи Колумба, одиноко скучающей на колонне в центре тесной площади, потом ехал вдоль парка, сворачивал у Плазы на Пятую. Тем днем маршрут изменился – профессор неожиданно нырнул на первом светофоре направо, спустился к Гудзону и понесся по набережной на юг.
Полина знала правила игры: это какой-то сюрприз, спрашивать бесполезно. Она сползла вниз по сиденью, уперлась коленями в бардачок. Очень хотелось курить, даже не курить, а просто держать в губах сигарету, чтоб огонек от ветра раздувался и горел рыжим, а дым улетал быстрой белой струйкой за плечо.
Она поправила черные очки, потыкала в приемник, нашла какую-то древнюю песню, записанную за год до ее рождения. Саймону тогда было столько же, сколько сейчас ей. Он слушал эту песню тогда, мускулистый, молодой, без дряблых складок и шрамов. Песня звучала точно так же. Пройдет еще лет двадцать пять и Полина, потертая и седая, будет куда-то ехать, а по радио опять будут крутить эту песню. Хотя наверняка к тому времени

придумают какие-нибудь пилюли от морщин и складок и вообще двадцать пять лет это почти вечность. Песня неожиданно рассыпалась испанской гитарой, пронзительно грустной и хрупкой, мелодия потекла плавно: «Ты можешь быть, кем ты захочешь, но для начала стань свободным, стань самим собой».

Все верно, все именно так, Полина переключила канал. Странный механический женский голос зашептал из динамиков:

– ... ласточки не успеют стряхнуть пыль со своих острых крыльев, но день полнолуния уже близок, Козерог в доме Марса, дева непорочная с серпом, готовым для жатвы. В ту ночь я, Махатма Ас-Гам-Зи сыграю Лунную сонату задом наперед, что повернет вспять историю рода человеческого и все грехи людские будут прощены. Для тех, кто...

Полина ткнула кнопку и странная тетка сменилась разболтанным регги. Боб Марли пел про шерифа, которого он пристрелил в порядке самообороны.

Саймон лихо вписывался в виражи, выставив наружу острый загорелый локоть. Машина взлетела на мост, гулко понеслась под циклопическими стропами с гигантскими гайками. За ажурной решеткой, слившейся в пульсирующий серебристый звон, далеко внизу искрилась вода с игрушечными яхтами. Сзади по берегу торчали терракотовые кубики Гарлема, дальше, почти на горизонте из бетонного марева Мидтауна вырастал стальной конус Крайслера. Мост кончился, и они въехали в Квинс.

Пошли пыльные домишки, заборы, промелькнуло кладбище с серым частоколом надгробий, ангелов, крестов. На бесконечной кирпичной стене старого склада проскочила полусмытая реклама давно исчезнувшей компании автошин. Потом пошли корпуса заброшенной фабрики с выбитыми стеклами. Полина родилась и выросла в Нью-Джерси, она по себе знала, что некоторые реки иногда бывают пошире морей, а соединительная функция мостов порой становится унизительной насмешкой.

У Полины была забавная фамилия – Рыжик, она смущалась всякий раз, называя ее. В ее голове тут же возникали оранжевые ассоциации: носатые клоуны, грибы-рыжики, снеговики с морковками. Смешная фамилия досталась от бабушки: совсем юной, сразу после войны она оказалась в Австрии, а оттуда, переплыв Атлантику, попала на Восточное побережье и обосновалась в Нью-Джерси. Здесь, от развеселого паренька (на единственном фото в бабкином альбоме он снялся с гитарой и в ковбойских сапогах со скошенными каблуками) родился отец Полины, Чарльз Рыжик, сделавший удачную карьеру в жевательном бизнесе. Он работал директором по маркетингу в «Риглис» – флагмане жевательной индустрии.

Детство Полины было пропитано мятным ароматом бесчисленных образцов и тестовых экземпляров, раскиданных по дому в виде пластинок, подушек, шариков и трубочек в пестрых фантиках. Бабка читала Полине на ночь Бунина, Толстого, Набокова, все на русском. В нежном возрасте пяти лет Полина прослушала «Смерть Ивана Ильича», в семь — «Крейцерову сонату». Сейчас Полина говорила по-русски почти без акцента, изредка перевирая ударения, да невпопад задирая хвосты повествовательных предложений.

Они встали на светофоре, шофер грузовика с мрачной завистью поглядел на профессорскую руку, перекочевавшую с коробки передач на голое девичье колено. Полина улыбнулась шоферу, тот вздохнул и зажмурился, словно у него заныли зубы. Включился зеленый. Через пять минут унылый Квинс остался позади, по сторонам зазеленели поля, лохматые кусты, могучие вязы и клены. Вкусно пахнуло летней травой. Свернули на грунтовку, дорога весело покатила вниз, петляя и наклоняясь то вправо, то влево. Сквозь листву вспыхнула рыжим черепичная крыша, показались три островерхие

башни, центральная с флюгером в виде птицы. Полина догадалась, что это и есть логово тощегрудой Дюереведки.
– Она, – не называя имени, сказал Саймон, глуша мотор. – Она в Штутгарте. Немцы нашли Гольбейна. Она им скажет, настоящий или нет.
Полина хлопнула дверью машины, гравий захрустел под каблуками, она со вкусом потянулась, осмотрелась. Стало ясно, отчего Ребекка считала городскую квартиру тесной – это жилище напоминало замок среднего калибра. За домом темнел старый парк, сквозь частокол стволов во тьме проглядывал то ли пруд, то ли озеро, кроны вязов нависали над черепицей крыши и бросали сетчатую тень на гравий перед входом и неухоженные клумбы с мордатыми хризантемами.
Саймон церемонно распахнул дверь, Полина шагнула в холл, высокий беленый потолок перечеркивали старые балки из темного дерева, каждая толщиной с телеграфный столб. Холл переходил в гостиную с камином, в который можно было войти, не сгибаясь. Полина с надеждой поискала глазами мечи, доспехи и прочую бутафорию — ничего, даже кабаньих голов на стенах не было. Пришлось признать, комната была обставлена безукоризненно. В спальне она уловила приторный запах, так пахнет прокисшая парфюмерия. Запах Ребекки – она подумала, улыбнулась и откинулась на подушки. Саймон уже раздел ее и увлеченно нянчился с грудью, прихватывая губами соски и громко сопя.
Потом был пикник у пруда. На пологом берегу между ив висел гамак, у Полины тут же возникло желание покачаться, которое было благоразумно подавлено.
Саймон бросил на траву верблюжий плед, угнездил бутылку холодного «шабли», завернутую в льняную салфетку, из корзины выудил два бокала, фаянсовые тарелки, столовое серебро. Разложил сыр, виноград, инжир с орехами, откупорил банку с медом. Полина наблюдала за ловкими руками профессора и думала, что сверстники мужского пола для нее потеряны, как минимум лет на десять. Саймон разлил вино, придвинувшись к ней, щекотно шепнул в ухо банальное:
– За нас!
Сверху голосили невидимые птахи, голова приятно плыла, Полина пыталась слушать историю Карибского кризиса, но мешали птицы. Она постепенно сдалась и, продолжая изредка хмыкать и поддакивать, провалилась в ленивую истому. Мысли обо всем и ни о чем неспешно тянули ее куда-то, убаюкивали.
–...Этот недоумок от авиации генерал Лэммей, – профессор хрустнул сочной виноградиной и продолжил, – игнорировав приказ президента, продолжал полеты над Союзом. В тот же день русские чуть не сбили еще один самолет-шпион. Над Сибирью. Первый был сбит утром над Гаваной, пилот майор Андерсон погиб. В учебниках этот день называется «Черная суббота». Русские телеграфировали в Кремль, что ожидают нападения в ближайшие сутки. Хрущев объявил готовность номер один. Мир оказался на пороге ядерной войны. Ближе мы не оказывались ни до, ни после.
Ни до, ни после – эхом откликнулось в голове Полины. Она не понимала, зачем профессору понадобилось тащить ее сюда, демонстрировать все эти роскошные интерьеры, экстерьеры, пейзажи и натюрморты. Единственное, в чем у нее теперь не было сомнений, так это в том, что мужчины (в отличие от женщин) не взрослеют, внутри каждого матерого зубра сидит резвый козленок, и умение прятать его и выглядеть солидно зависит целиком от индивидуальных способностей и таланта к мимикрии.

Стемнело. Они сидели у камина (день продолжал разыгрываться по сказочному сценарию), огонь покрасил руки и лица, в углах сгустились тени, потолок исчез, сверху нависла черная бездна. Саймон щурился на огонь, поглядывая то в коньячный бокал, то на Полину. После ванны она забрала волосы наверх, выставив напоказ неожиданно долгую шею. Отвергнув искусствоведкины тряпки, Полина накинула вместо халата белую профессорскую рубаху, из-под нее выглядывало белье, красное с фиолетовыми кружавчиками. Полина считала, что это кич, но белье подарил Саймон, пришлось надеть.

– В лучшем случае будешь заведовать каким-нибудь архивом имени братьев Карамазовых, – профессор сделал маленький глоток, помолчал, оценивая вкус. – За сорок тысяч годовых. Или читать в Мидлберри прыщавым подросткам письма Онегина к Печорину.

– К Татьяне.

– И к Татьяне тоже. И все за те же сорок тысяч.

Полина засмеялась:

– Но ты ведь сам примерно этим и занимаешься!

Саймон улыбнулся.

– Вот именно. Поэтому и говорю.

Он подался к ней.

– После Берлинской стены, – он понизил голос, словно их могли подслушать, – после Горбачева, после Ельцина... – он оглянулся в пустой холл, – наступила эйфория, Конгрессу удалось срезать бюджет, да и в конторе не очень сопротивлялись. Восточный сектор свернули. Вручили ордена и медали... – профессор сделал глоток. – Почетные пенсии... Ну и под зад коленом.

Полина выставила руки и смотрела в огонь сквозь растопыренные пальцы. Сделала птицу, скрестив большие пальцы.

– Сейчас ситуация изменилась.

Птица расправила крылья и полетела.

– Они набирают, – Саймон улыбнулся. – Могу дать рекомендацию.

Полина улыбнулась в ответ.

– У меня диплом по Толстому.

– Да кому твой Толстой нужен? – спросил профессор чуть резко. – То, чем ты собираешься заниматься — тупиковая ветвь. А я предлагаю перспективу. Интересную перспективу. Ты – умная, красивая баба, молодая...

– Спасибо.

– Это не комплимент, а констатация факта. Будешь работать в посольстве, консульстве, или под крышей какого-нибудь Сороса. Москва, Прага, Питер... – он усмехнулся. – Восточная Европа – весьма занятный регион.

Полина поджала под себя ноги, натянула на колени рубаху. От нее пахло крахмалом, прачечной. Полина подумала о бабе Нине, Нине Егоровне Рыжик.

– Мою бабушку немцы угнали в плен. В самом начале войны. Они жили под Брестом, – Полина говорила тихо. – Следом за войсками шли эсэсовцы. Полдеревни, всех мужчин и пацанов согнали в амбар, амбар облили бензином. Моя бабушка все это видела. Она мне рассказала перед самой смертью, говорит, крики из амбара до сих пор слышит. Там отец ее был, два брата.

Профессор вздохнул, допил коньяк. Полина зябко поежилась и добавила обычным тоном:

– Мне нужен.

Саймон не понял, рассеянно поглядел на нее.
– Ты спрашивал, кому нужен Толстой. Мне.

Прошла неделя, профессор не позвонил. У них было заведено, что всегда звонил он. Полина вытерпела до вторника, вечером набрала номер. Он взял трубку сразу, ответил чужим, сухим голосом, что перезвонит. Сразу нажал отбой, Полина что-то пролепетала в частые гудки, осеклась на полуслове. К горлу подкатила тошнота, Полина налила в кружку воды из крана, рука была слабой и чуть дрожала. Отпила, вода оказалась теплой, она выплюнула ее в раковину. Телефон запиликал. Она вздрогнула, метнулась к столу. Завтра в три, сказал профессор тем же чужим голосом.
Полина минут десять стояла с телефоном в руке. В голове было пусто. Постучали в дверь, Полина вздрогнула, открыла. Мона со второго этажа, толстая мулатка с бородавкой на подбородке и в роговых очках. Попросила сигарет. Полина спустилась с ней вниз, они сели на асфальт, закурили. Мона что-то говорила про свой диплом, потом про какую-то Жасмин, которая крутит голой жопой в «Экстазе» и делает по штуке за ночь. Полина глубоко затягивалась и кивала, разглядывая окна общаги. Тусклые желтые квадраты лежали на тротуаре, сквозь деревья мутным конусом светился физический факультет.
Она почти не спала, препарируя в памяти последнюю встречу: дорогу туда, секс, пикник, разговор в гостиной, секс, завтрак, дорогу обратно. Она ничего не понимала и от этого становилось совсем тошно. Подходила к окну, курила в форточку, спрятав сигарету а кулак. Ложилась. Постель казалась жесткой и грубой, все тело чесалось. Она снова вставала и шла к окну. Под утро провалилась в полубред, отчетливый и яркий: она голая стояла по пояс в воде, коричневой и грязной. За ее спиной кто-то прятался, она с ним спорила. Она знала, что поворачиваться нельзя.
После душа Полина разглядывала себя в узкое зеркало, прибитое к дверце шкафа. Хлопнула ладонью по загорелому животу, провела по бритому лобку: профессор не одобрял отсутствие волос, говорил, что это напоминает педофилию. Полина брызнула одеколоном на шею, плечи, провела рукой по груди, в паху, по ляжкам. Надела черный лифчик, соски выглядывали наполовину из-под сиреневых кружев, как и было задумано. Натянула трусы. К полудню она уже убедила себя, что случилось какое-то недоразумение. Что они встретятся, и ошибка моментально вскроется. Они посмеются и поедут на Пятую авеню. Она сунула запасные трусы в сумку.
Когда Полина пришла к антикварной лавке, профессорская машина уже стояла там, правда, за углом и с поднятым верхом. Он толкнул дверь. Полина, привычно бросив сумку назад, села. Она хотела что-то сказать, но Саймон, не взглянув на нее, дал газ. Он смотрел вперед, сосредоточенно, словно собирался идти на таран. Костяшки рук побелели, он резко бросал машину вправо и влево, зло втыкая передачи и резко давя на газ. Прошло двадцать минут. Они неслись по Ист-Сайд, с одной стороны за ржавыми контейнерами мелькала река, с другой тянулись глухие, пыльные стены каких-то складов. Полина не могла представить, что такие места вообще существуют на Манхеттене. Саймон затормозил и въехал на заброшенную автозаправку. Окна конторы были заколочены щитами, по фанере и стенам тянулись иероглифы граффити. Саймон вылез, хлопнул дверью. Полина вылезла вслед.
С самого утра парило, у Полины сразу вспотели ладони. Теплый ветер гнал пыль, от нее першило в горле, и чесались глаза.
– На блесну, значит? – Саймон сердито глядел мимо нее. – На блесну...

Полина растерянно повернулась, открыла рот.
– Только вот не надо... – Саймон раздраженно махнул рукой. – Вот этого только не надо! Хорошо?
Он резко прошелся взад и вперед. Остановился у ржавого корпуса бензиновой колонки. Пнул его ногой.
– Придумано все на «пять». Только один момент ты не учла: мы с Ребеккой уже тридцать лет вместе. И вместе через такое прошли, что тебе и не снилось.
Полина обхватила себя за плечи, ей вдруг стало зябко. Она не знала, что сказать, с чего начать, ей казалось, что профессор сошел с ума. Или она сошла с ума. Или весь мир.
– Саймон! Ты можешь, наконец, объяснить? В чем дело?
Профессор с ненавистью взглянул ей в лицо и громко засмеялся.
– Молодец! Ох, молодец! – он снова пнул ногой колонку. – Полина, это конец. Все, понимаешь? Кончай дурочку ломать.
– Я ничего не понимаю, – у Полины першило в горле, голос вышел сиплый, словно она собиралась расплакаться. – Правда...
От этого профессор только раззадорился. Он перешел на крик:
– Овечка! Ничего она не понимает! Неужели тебе могло придти в голову, что я женюсь на тебе?
– Что!?
– Ты думаешь, я не видел? Ты думаешь, я не знаю вашу славянскую породу? Вашу зависть, вашу азиатскую хитрость?— он закашлялся. Кашлял долго, его лицо покраснело, он сплюнул на асфальт. – Знаю! Знаю!
– Господи... Что происходит? – Полина поняла, что плачет, она быстро провела рукой по лицу. – Саймон, ради Бога!
Она слышала свой голос, противный, в нос. Голос человека, безусловно, виноватого, голос обманщика. Она не знала, в чем виновата, но такому голосу не поверила бы сама.
– А знаешь, что она сказала? Ребекка. Когда нашла их. Что я таскаю в дом дворняжек! Что такие серьги не наденет даже портовая шлюха!
Полина вздрогнула, мир качнулся и встал на место.
– Саймон! Клянусь... Я думала... я искала... неужели ты думаешь... – она осеклась, словно у нее кончился завод, как у пружинной игрушки.
Профессор достал с заднего сиденья ее сумку, брезгливо бросил Полине под ноги. Внутри тихо звякнули ключи.
– Я надеюсь, ты понимаешь, что на этом все? – он сделал паузу и исподлобья посмотрел на Полину. – И не дай тебе Бог...
Полина подняла сумку, достала сигареты. Руки у нее тряслись, она несколько раз чиркнула зажигалкой, ветер тут же гасил пламя. Саймон сел в машину, хлопнул дверью. Наконец прикурив, Полина глубоко затянулась.
– Погоди, – выдохнула она.
– Чего еще? – спросил он грубо, включая стартер.
Полина достала из сумки связку ключей, выбрала английский, воткнула острие бороздки в крыло машины и сказала:
– Да нет, ничего.
Профессор выжал сцепление, дал газу и рванул машину с места. На крыле и двери красовалась глубокая, свежая царапина.

Грэг прислал цветную открытку с закатом над Эдинбургским замком. На обороте была марка с королевой в профиль, припечатанная грязным фиолетовым штемпелем. Грэг, малюсенькими буквами, словно писал из тюрьмы, расписывал шотландские красоты: вересковый дух над вечерними полями, клочья тумана меж скал, руины замков – банально и в меру поэтично. В постскриптуме, втиснутом в угол открытки, упоминался некий Рональдо, танцор, с которым Грэг собирается переехать в Амстердам. Вместо подписи стояло кривое сердечко и буква «Г».
Полина, дочитав, хмыкнула и прикнопила вечерний замок к стене между портретом босого Льва Толстого и фотографией Чехова, которого все принимали за ее дедушку. С Грэгом ситуация более или менее прояснилась. Профессора Саймона Лири она видела пару раз издали, разумеется, он ее не замечал. С профессором тоже все было ясно.
Третьего июля Полина защитилась, ее хвалили, завкафедрой славистики Левенталь два раза произнес слово «превосходно». На другой день было вручение дипломов, из Нью-Джерси приехали родители. Мать вытирала глаза, зажатым в кулак платком, отец балагурил, говорил бодрым и громким голосом, знакомился с другими родителями. Он выставлял энергичную ладонь и рычал: Чарльз Рыжик. Полине, как всегда, было неловко за свою смешную фамилию. Стояла жара, Полина взмокла в фиолетовой мантии, сшитой в Китае из какой-то синтетической дряни. Когда подошла ее очередь, она чуть не грохнулась в обморок на подиуме, что-то пробормотала в микрофон, уронила шапку, кое-как вернулась на место. Отец воскликнул «ого!», ухватил диплом, пробуя на вес, словно приценивался, купить или нет. Полина разглядывала готические буквы, университетский герб, золотую раму, ей отчего-то стало тоскливо. Родители смеялись, мать гладила ее по голове, как ребенка, что-то спрашивала. Она улыбалась, молча кивала, закусив губу. Она боялась разреветься.

Через день на двери общаги появилась бумага, предупреждавшая, что все комнаты должны быть освобождены к концу месяца. Полина с минуту глазела на объявление, весь текст угрожающе был набран заглавными буквами. В слове «администрация» вместо первого «и» стояла «е». Полина хотела исправить, но не нашла ручки. Она поднялась к себе, стала ходить от окна к двери, четыре шага туда, четыре обратно. С улицы долетал резкий женский голос, ругались по-испански. Полина захлопнула форточку. Подошла к столу, включила компьютер. Мрачно поглядела на экран. Потом тихо опустилась на кровать и закрыла лицо руками.
Она проснулась ночью, проснулась внезапно, будто ее кто-то выдернул из сна. Она резко приподнялась, вытянула шею, пялясь в темноту. Сердце ухало где-то в горле. Что ей снилось, она не помнила совсем, осталось лишь ощущение жути. Полина встала, дошла до окна. Деревья черными лапами загораживали улицу, в рваных просветах маячили слепые фонари. Полине эти огни напомнили пристань, тихий прибой. Она распахнула форточку. Дух ночного города обдал теплом, она тихо стояла, вдыхая резкий запах асфальта и гари. Невидимый автобус, грозно рыча, мощно набирал обороты, и, казалось, шел на взлет.

Два дня Полина не выходила из общаги, ее комната провоняла китайской лапшой, картонки от которой валялись по полу, стояли на подоконнике. Резюме продолжало выглядеть неубедительно, Полина несколько раз редактировала текст, меняла шрифты – суть оставалась прежней: диплом Колумбийского университета и никакого опыта. Три

статьи в студенческой газете «Квест» плюс летняя работа в библиотеке Конгресса год назад – вот и вся практика.
Полина вздыхала, копировала письмо, меняла имя адресата и название конторы. Цепляла файл с резюме, нажимала «отправить». Вычеркивала из списка. Эту операцию она проделала уже сорок семь раз. На краю стола лежали две последних сигареты. Полина несколько раз порывалась закурить, но каждый раз сила воли одерживала верх.
Последним в списке оказался журнал «Еврейское книжное обозрение», им требовался ассистент редактора со знанием русского языка. Полина захлопнула крышку ноутбука, потянулась. Нашла зажигалку, зажав в кулак, сбежала вниз по лестнице.
На бордюре клумбы сидела Мона, выставив вверх толстые бледные колени. Она говорила по телефону, курила, часто затягиваясь и стряхивая пепел в пустую банку из-под пива. Полина села рядом. Мона нажала отбой, спросила:
– У тебя все тип-топ? Видела твоего папашу – козырный такой!
Мона подмигнула.
– Не-е, – Полина помотала головой. – Мой же не сенатор. А ты куда?
– Я? – Мона ввинтила окурок в дырку банки. – Я в школу. В Цинциннати.
– Школу? – растерянно повторила Полина. – В смысле?..
– В прямом. Учителем.
— С нашим дипломом? В школу?
Мона повернулась к Полине, на ней не было ее толстых очков в роговой оправе, близорукие глаза оказались по-детски светло-серыми.
– Я с февраля триста сорок резюме раскидала. Триста, твою мать, сорок! По всему миру! — она снова закурила, выпустила дым Полине в лицо, замахала ладонью. – Триста сорок! На фик мы не нужны. Никому!
– С февраля? – поникшим голосом переспросила Полина.
«Господи, а я-то что с февраля делала? – мысли запутались, неясная паника начала расти, она нервно вдохнула, закашлялась дымом – Вот дура! Дура!»
Ей казалось, нет, она просто была уверена, что надо хорошо учиться, получить диплом, отправить несколько резюме, сходить на пару интервью, а потом начать работать. Просто начать работать. Это как ступеньки, ты идешь по ним, шаг за шагом. Ведь так и было всю жизнь – шаг за шагом.
– Ты чего? – Мона спросила с грубоватым сочувствием. Полина помотала головой, в горле стоял ком.
– А этот... – Мона подмигнула. – Профессор с международки? Не поможет?
Полина открыла рот, не зная, что сказать. Она сидела, как деревянная, зажав между пальцев тлеюший окурок и чувствуя, как медленно разгораются ее скулы.

Утро добавило проблем — жилье... Вырвавшись из ненавистного Нью-Джерси, пошлого и провинциального вдвойне из-за унизительной близости к Нью-Йорку, Полина прожила четыре года на Манхэттене, вросла в его плоть, слилась с его ритмом, стала его частью. О возвращении к родителям не могло быть и речи – в Полининой шкале этот шаг располагался где-то между монастырем и самоубийством. Полина перерыла интернет, просмотрела всю секцию аренды жилья в воскресной «Таймс»: цены на дрянную студию размером с кладовку начинались с тысячи. Не говоря уже о том, что рантье-кровопийцы требовали трехмесячный залог при подписании контракта. Короче, Манхеттен оказался просто не по карману.

На компьютерной карте Бронкс ничем не отличался от Манхэттена, те же улицы, площади, кубики домов, прямоугольники скверов. Такая же земля на другой стороне Ист-Ривер, тот же город Нью-Йорк. Просто другой район. Самовнушение начинало потихоньку работать, паника постепенно улеглась. Полина налила вина, забралась с ногами на кровать. Устроившись по-турецки, раскрыла ноутбук, набрала в поиске «временное жилье в Бронксе». Отвергнув пару пансионов, она натолкнулась на темно-голубую рекламу мотеля «Стардаст». Чтобы у потенциальных клиентов не было сомнений, анимированная звездная пыль мерцала по всему переливчатому фону.

– Ну и кич... – пробормотала Полина, допивая вино.

Номер в сутки стоил двадцать восемь долларов. Самый дешевый. Полина прикинула, оказалось, что это даже дешевле, чем снимать квартиру в том же Бронксе. Она набрала номер, бодрый женский голос ответил почти сразу:

– «Стардаст» к вашим услугам!

«Вот именно такого оптимизма мне и не хватает», — подумал Полина и забронировала номер на послезавтра.

Мотель «Стардаст» напоминал длинный одноэтажный сарай, крашенный салатовой краской. Торцом он упирался в глухую стену склада. Все двери мотеля выходили на дорогу и были синими, на каждой по трафарету была набита лимонная звезда с номером комнаты, всего девять. За десятой дверью, со звездой и надписью «Контора», обитала хозяйка. Полине достался седьмой номер. Из ее окна был виден кирпичный угол склада, кусок эстакады и рекламный билборд над шоссе. С выгоревшего щита драными обоями свисали клочья старых реклам. Шел дождь. Полина, упершись кулаками в подоконник, разглядывала трещины в мокром асфальте, мелкий мусор, застрявший в решетке стока.

Машину, ее дряхлый «форд», вскрыли в первую же ночь. Брать там было нечего, шпана выгребла всю мелочь, даже медяки. «Форд» стоял за мотелем на бетонной площадке, усыпанной окурками и использованными иголками для шприцов. Там собиралось местное хулиганье, подростки-пуэрториканцы. Трусливые, но опасные, парни лет пятнадцати, вооруженные бритвами. Они были коренасты и жилисты, в мешковатых штанах и тупорылых солдатских ботинках. Они вились вокруг мотеля и возле складов, высматривая, чем бы поживиться. Караулили фуры на разгрузке, налетали стаей и грабили. Запросто могли полоснуть бритвой.

Дорис, хозяйка мотеля, она же портье, она же оптимистичный голос в телефоне, на деле оказалась теткой за пятьдесят, с желтыми, как у куклы, волосами и крепкими мужскими руками, на правом бицепсе синела татуировка – голова тигра и слово «Джаг». Слово оказалось именем, Джаг был ее мужем, он в феврале по третьему кругу отправился в Афганистан.

Полина перечитывала «Жизнь Арсеньева», курила, и каждые полчаса подходила к компьютеру. Прошло две недели, ни одного ответа, ни одного интервью. Надежда, что все решится само собой и как-то образуется, постепенно рассеивалась, сменялась тревогой, переходящей в тихую панику.

Полина вытащила сумку, порылась в бумагах. Нашла список, начала звонить. Через коммутатор добиралась до отдела кадров, спрашивала про свое резюме. Ответы можно было поделить на три группы: да, получили, но место уже не вакантно; нет, не получили, но посылать ничего не нужно, позиция занята. Ответ номер три – лицо, с которым нужно говорить, находится в отпуске, в командировке во Флориде или на Аляске, обедает, проводит встречу или просто страшно занят в настоящий момент. Полина записывала

имена, фамилии, время, когда надо перезвонить – постепенно бумага покрылась неразборчивой тайнописью, состоящей из жирных пятен, слов и цифр разнообразного калибра.
Телефонные разговоры выматывали. Говоря, Полина нервно ходила по комнате, жестикулировала. Через час у нее уже раскалывалась голова. Она курила, от курева голова болела еще сильней.
Незаметно стемнело, она опустилась на край кровати, потом устало повалилась на бок и тихо заплакала. Ночью она проснулась от стрельбы, казалось, что стреляют совсем рядом, за шоссе. Полина лежала на спине, боясь пошевелиться. Потом завыли сирены, жутко и протяжно. Сначала вдали, едва различимо, сирены постепенно приближались. Под конец истеричный вой уже раздавался под самым окном. Полина накрыла голову подушкой.
Утром она босиком подошла к окну, чуть отодвинув занавеску, с опаской выглянула наружу. Ничего. Там не было ни полиции, ни трупов, ни пятен крови на асфальте. Лишь на кирпичной стене склада появилось яркое граффити, похожее на узкое лицо с длинными ушами. Рисунок был набрызган по трафарету розовой аэрозольной краской. Полина поплелась в душ, открутила до упора горячий кран, вода полилась ледяная, потом чуть потеплела. С зубной щеткой во рту, она не мешкая влезла под слабые струи, зная по опыту, что если упустить момент, то вода снова пойдет холодная.
Страшно хотелось кофе. Намотав на голову мотельное полотенце, серое, с подозрительными ржавыми пятнами, Полина собралась в «Контору» – хозяйка поила жильцов кофе с семи до десяти. Кофе был дрянной, но горячий, а главное, бесплатный. Никелированный термос с краном стоял на табурете у двери.
Пристроив картонный стакан на бордюрный камень, Полина достала сигарету.
Дверь конторы распахнулась, на пороге появилась Дорис.
– Как успехи? – спросила хозяйка.
Полина тоскливо махнула рукой.
– Ты это брось кукситься! — Дорис большими руками взлохматила свои, яичного цвета, кудри. Мужская линялая рубаха была ей велика, Полина подумала, что это рубаха Джага.
– А когда ваш муж возвращается? – спросила она первое, что пришло в голову. Говорить о себе ей совсем не хотелось..
Дорис оживилась, сбивчиво стала перечислять какие-то географические пункты – Карабастан, Забарастан, – они звучали одинаково нелепо и напоминали заклинание дервиша из арабской сказки.
– Обычно один тур – шесть месяцев, при учете военных действий, а если без, то девять, но кто сейчас соблюдает, могут загнать и на год, с них станется. Людей-то нет... – Дорис нервно вдохнула, словно ей не хватало воздуха. – Война десять лет идет, а всем плевать, даже и не замечают: «Что, где, какая война? А, эта...» Всем плевать. Только если у тебя там муж. Или сын. А так... – Дорис вдруг осеклась, развернулась и скрылась в конторе, хлопнув дверью.
Полина постояла, глядя на лимонную звезду. По краю желтый цвет смешался с синим и стал ядовито-зеленым. Из конторы послышался грохот, словно уронили буфет с посудой. Полина вздрогнула и, тихо ступая, пошла к себе. В восьмом номере тоже проснулись, из-за двери женский голос с тупой настойчивостью повторял: «Ну? Ну? Ну?». Полина прислушалась. Женщина перешла на «Да! Да!», потом застонала.
Полина сглотнула, сунула руку в карман, ища ключ. Ключ оказался в другой руке. Ее интимная жизнь приближалась к нулю. Она попыталась вспомнить – да, последний раз это

было с Саймоном, когда она забыла серьги на ночном столике. Замок заедал, она вынула и снова вставила ключ, повернула. В кармане запиликал телефон. Номер высветился нью-йоркский.
– Доброе утро! Мне нужно переговорить с мисс... Рыжик, это правильный номер?
– Да... – выдохнула Полина, застыв на пороге. – Да, это я.
– Меня зовут Бетси Кляйн. Я редактор журнала «Еврейское книжное обозрение».
Полина не шевелилась, боясь ненароком разрушить ткущееся из воздуха чудо.
– Мы ищем человека для работы с русским архивом. Вам это интересно?
О, волшебное, любимое обозрение милых еврейских книг! Полина страстно закивала головой.
– Але! Вы меня слышите? – заволновалась Бетси Кляйн. – Але?
– Да, да! Да, слышу! – закричала Полина. – Да, интересно!
– Т ут связь такая... – пробормотала Бетси. – Вы когда могли бы подъехать?
Полина открыла рот, задохнулась, сипло выдавила из себя:
– Это интервью?
– Ну да... – растерянно ответила Кляйн. – Интервью.
– А можно сейчас?
На том конце замолчали, потом Бетси сказала:
– В три?
– В три! – Полина нажала отбой, зажмурилась, подпрыгнула и заорала: – В три-и! В три!
Из восьмого испуганно высунулась женская голова с мокрыми волосами.
– У меня интервью! – прокричала Полина.
– Знаю. В три! – девица хлопнула дверью.

Полина вышла на 72-ой, в подземке было душно, она боялась, что вспотеет и подмышками выступят пятна. Поэтому она держала руки чуть на отлете, словно собиралась взлететь. Она прошла несколько кварталов, искоса поглядывая на свое отражение в витринах: прямая спина, строгое платье, серьезный взгляд. Минимум макияжа, никаких духов — строго и стильно, серьезный специалист по русской словесности. Не вертихвостка, но и не синий чулок.
Здание одним углом выходило на Бродвей, другим на Восемьдесят Первую улицу. Дом был старый, Полина поднялась на второй этаж, этажом выше шел ремонт, оттуда воняло сырой побелкой, и слышалась задорная мексиканская музыка. Полина посмотрела на часы, глубоко вдохнула и толкнула дверь.
Редакция оказалась тесной. Бетси Кляйн, худая женщина за сорок, с властным лицом и крупными темными глазами, очевидно, некогда блиставшая семитской красой, жгучей, но, увы, скоротечной, сидела в комнате с половиной окна, вторая половина принадлежала кому-то невидимому за перегородкой. Полина отказалась от предложенных на выбор кофе, чая, воды и почти сразу пожалела об этом – она начала говорить и у нее тут же пересохло в горле.
Несколько раз звонил телефон, Бетси делала строгое лицо, брала трубку и скупо отвечала тихим голосом. Извинялась, кивала Полине, та продолжала. Закончив говорить, Полина застыла, костяшки кулаков у нее побелели от напряжения. Редакторша помолчала, потом сказала:
– У меня сын окончил Беркли год назад. Работу нашел только в марте. Получает... – она махнула рукой. – Господи, куда все катится?

Полина, кивнув, согласно вздохнула.
– Мы вас можем взять по контракту. На три месяца, – произнесла Бетси другим, официальным голосом. Полина радостно подалась вперед, хотела что-то сказать, редакторша перебила:
– Погодите, погодите. У вас диплом Колумбийского университета, вы специалист по Толстому, свободно владеете русским. Мы вам предлагаем место переводчика и помощника архивариуса, понимаете?
Полина весело кивнула:
– Да, да, я согласна.
Бетси поглядела на нее, грустно сказала:
– Вы ведь даже не спросили, сколько вам будут платить.
– Да! А сколько?

Полина занималась документами для музея Холокоста, которые в двух больших коробках прислали из России. По большей части это были копии протоколов допросов полицаев, старост, надсмотрщиков концлагерей. Часть документов оказалась на украинском. Полина сначала испугалась, но когда почитала, ей стало ясно, что украинский — тот же русский. Попадались смешные, непонятные слова, казалось, их вставили в текст ради шутки.
Полину пристроили в каморку без окон в самом конце коридора. Обстановка состояла из письменного стола с ящиком и тумбочкой, стула, прошлогоднего календаря с видами Северной Италии и настенных часов, умерших на половине девятого. В ящике стола, среди конфетных оберток и скрепок обнаружилась пачка презервативов «Троян» с банановым ароматизатором. Полина сунула пачку в сумку и после тайком выкинула в мусорный бак на углу Восьмидесятой улицы.
Редакционный компьютер, неторопливый антикварный монстр, натужно гудел как пылесос и сильно грелся. Пришлось принести свой ноутбук. Еще она принесла большую белую кружку, прикнопила к стене грустного Чехова и босого Толстого, поменяла батарейку в часах. Прошлогодние виды Италии очутились в мусорной корзине.
– Ну, вот мы и освоились. Мило, – констатировала Бетси Кляйн, нюхая пестрый букетик, купленный Полиной только что у выхода из метро. – Зайди ко мне, я вазу дам. У меня две.
Полина поблагодарила, Бетси, положив цветы на угол стола, сказала:
– Русские свалили все документы в кучу – сама видишь. Я не знаю, была ли у них какая-то идея систематизации, сильно сомневаюсь. Короче, наша задача, – Бетси улыбнулась, – твоя задача, – навести порядок. Просмотреть все копии и отделить дела, относящиеся к Холокосту от всех остальных. Все преступления против евреев на оккупированной территории, там Белоруссия, Россия, Украина. Расстрелы, отправка в концлагеря, кто доносил, кто составлял списки. Понимаешь?
Полина кивнула.
– Это первый этап, – Бетси выставила большой палец с вишневым ногтем/ – Второй этап – перевод. Ты переводишь каждый документ на английский, сохраняешь как отдельный файл. Я думаю, оптимальный принцип систематизации, будет географически-временной. Ты понимаешь?
– Дела, относящиеся к одному региону, будут располагаться в хронологическом порядке.
– Именно, – Кляйн улыбнулась. – Молодец. А что, телефон тебе не поставили?
– Телефон? Зачем – у меня есть, – Полина кивнула на мобильник.
Кляйн недовольно пожала плечами, открыла дверь.

– Миссис Кляйн... – позвала Полина.
– Бетси, – перебила та ее. – Зови меня Бетси.
– Бетси... – смутясь, произнесла Полина. – А что с другими делами мне делать?
– С какими? – редакторша удивленно подняла брови.
– Вы сказали, что я сначала должна найти все дела, связанные с Холокостом.
– Ну да, все дела, связанные с геноцидом евреев.
– А что мне с остальными делать? Которые не евреи.
– Нас они не интересуют. Пойдем, я тебе вазу дам, а то цветы завянут.

Полина раскрыла первую папку.
«Хорунжий Арсений Гаврилович, бывший кулак, 1905 года рождения, за особые заслуги перед немецкими оккупационными властями был назначен начальником Луговской полиции. Проводил облавы и аресты, принимал участие в обысках. Участвовал в карательных рейдах против партизан, собственноручно расстреливал и вешал коммунистов и неблагонадежных».
Полина перевернула несколько листов, ксерокопии были серыми, неразборчивыми. Машинописный шрифт, печати и штампы, записи от руки, некоторые с изящными петлями и завитушками, словно образцы каллиграфического искусства. «Инок Пафнутий руку приложил», — пробормотала она, усмехнувшись. Ей всегда хотелось научиться писать вот такой текучей русской вязью.
«... велел доставить арестованных в полицию Нижней Дувановки. Бывший односельчанин, их друг детства Наконечный, оказался предателем. По его приказу каратели арестовали коммунистов и расстреляли на льду у реки села Нижняя Дуванка. Это случилось незадолго до освобождения села войсками Красной армии в январе 1943 года. Из показаний А.В. Свистунова».
Полина наугад вытащила лист из середины.
«...мы не знали, куда их отправляют. Моего брата, Глущенко Ивана, Хорунжий застрелил сам. Полицаи, Солод и Наконечный угнали корову и подожгли хлев. Когда мой дед, Глущенко Сидор, пытался потушить огонь, Наконечный ударил его вилами и убил».
Другой лист был ксероксом газетной статьи.
«Обеспечивая «новый порядок», полицаи на стенах домов, на столбах, на всех видимых местах наклеили объявления, призывающие всех евреев, коммунистов и комсомольцев явиться для регистрации в районную комендатуру. Весь домашний скот, имевшийся в личном хозяйстве, был взят на учет в сельской управе.
В селе был введен комендантский час, было запрещено собираться группами. Все это сопровождалось угрозой – за неповиновение расстрел».
После обеда Полина принесла две пустых коробки. На одной написала фломастером «jews». Подумав, затушевала и вывела сверху русской прописью «евреи». Другая коробка осталась без названия.
В пять часов в коридоре захлопали двери, кто-то басовито заржал. Потом все стихло. Полина прошла по коридору, заглянула в пустой кабинет Бетси. В соседнем кто-то с чувством ругался по телефону, очевидно, с женой. Полина, стараясь не топать, вернулась к себе, сунула мобильный в сумку и выскользнула на лестницу.

Возвращаться в Бронкс не хотелось. На Бродвее вовсю бурлила вечерняя толкотня, проезжая часть была забита желтыми крышами такси. Клерки, юристы, банкиры,

секретарши, сменив туфли на кроссовки и кеды, ловко избегая столкновений, обгоняли друг друга, умудряясь при этом пить кофе и болтать по телефону. Полина подумала, что надо будет и ей оставлять туфли в редакции.
Она по привычке направилась вверх, в сторону Колумбии, потом вдруг развернулась и пошла на север, к Таймс-Сквер. Веселый негр с бритой, удивительно гладкой, словно отполированной, головой торговал с лотка соломенными шляпами разнообразных фасонов. Он балагурил, зазывая прохожих, и дымил толстой сигарой.
– Миледи! – не вынимая сигары, прорычал негр. – Для вас – невероятная скидка! Пятьдесят процентов, – он подмигнул всем лицом.
Полина смутилась, взяла в руки первую подвернувшуюся шляпу, покрутила.
– Нет! – негр возмущенно всплеснул руками. – Вот! Парижский шарм и венский шик!
Он протянул ей шляпу из черной соломки с узкими полями и алой атласной лентой вокруг тульи. Полина поглядела в зеркало – вылитый черный гриб.

Она зашла за ключом, Дорис записывала что-то в книгу за конторкой, подняла голову и хдлпнула себя по ляжкам.
– Ух, ты! Это что, там униформа у евреев такая?
Полина засмеялась.
– Ничего смешного. Это надо обмыть, – Дорис подняла загородку, мотнула головой. – Заходи.
Первая комната, тесная, с затхлым чесночным духом, совмещала кухню и гостиную. В углу беззвучно работал телевизор. Дверь во вторую комнату была раскрыта настежь, там виднелась растерзанная постель, из которой расползались по ковру чулки и еще что-то из нижнего белья. Дорис выудила стаканы, щедро плеснула бурбон. Протянула один Полине. Она осторожно отпила.
– Ну-у, что это? – разочарованно протянула Дорис. Полина выдохнула и допила до дна.
– Вот это другое дело! – обрадовалась Дорис и тут же налила еще.
Полина, аккуратно прицеливаясь, стряхивала пепел в пустую бутылку из-под содовой, Дорис попросила закурить, но сразу же закашлялась и, матерясь, придушила окурок в раковине.
– ...Я не знаю, наверное, я сама виновата, – Полина с благодушной печалью развела руками.
– Это – карма! – строго заявила Дорис. – С женатым мужиком зачем связалась?
– Ну, я ж поначалу не знала... – она махнула рукой и засмеялась.
Дорис тоже засмеялась. Полина сидела в кресле, ей казалось, что угол комнаты, где моргал немой телевизор, медленно поднимается. Как нос лодки, если сесть на корму. Она отхлебнула бурбона.
– Я просто с детства такая. У меня никогда и подруг-то не было, все эти барби, принцессы... Я с мальчишками дружила. Ну а в старших классах вся эта дружба можешь представить, во что вылилась. Я ж не думала, дура, что для них... – Полина сделала глоток, сморщилась. – Ну и дрянь... Поэтому я и хотела из Нью-Джерси вырваться. Не могла я там оставаться, в этой дыре! Понимаешь? Меня знаешь, как в школе дразнили?..

Все стены в комнате были увешаны фотографиями Джага. Одни в рамках, другие были просто приклеены к обоям липкой лентой. В военной форме на фоне флага Джаг выглядел застенчивым здоровяком, из молчунов, на которых так хочется положиться в сложной

ситуации. На других, любительских снимках, он позировал на фоне уродливых военных машин, на фоне тощих пальм, каких-то дымящихся руин, на фоне плоской желтой пустыни. Везде Джаг выглядел лет на десять моложе Дорис, Полина хотела спросить об этом, но передумала. Ей пришло в голову, что она никогда никого не будет ждать с такой страстью. От этого стало грустно, она вздохнула, с трудом выбралась из кресла.

3

Коробки наполнялись равномерно. Спорные документы, где речь шла о коммунистах, партизанах, комсомольцах, а евреи только упоминались, Полина тоже отправляла в «еврейскую» коробку.

Голые факты, конторский сухой язык, списки расстрелянных, повешенных, списки отправленных в концлагеря и угнанных в Германию казались Полине архивной древностью, историей, вроде кровавой экспедиции Кортеса или крестовых походов.

Ровно в двенадцать она спускалась вниз, покупала итальянский сандвич, банку колы и шла в Риверсайд Парк. Там она устраивалась на рябой от солнечных пятен траве, открывала Бунина в потертом переплете, лениво жевала, изредка поглядывая на резвых белок, суетливо снующих по деревьям. Иногда любопытный спаниель или терьер подскакивал к ней, тыкался черным носом в ногу, радостно фыркал, здороваясь, и тут же бежал дальше по своим собачьим делам. Сквозь просветы в листве проплывал острый парус яхты или рыжий бок баржи, вода Гудзона не была видна с травы, и Полине казалось, что кто-то тянет эти летние декорации для создания хорошего настроения. Без пяти час Полина снова сидела в своей кладовке на углу Бродвея и Восемьдесят Первой.

В редакции к ней относились по-доброму, но, соблюдая дистанцию, всем было известно, что у нее трехмесячный контракт. Бетси не докучала, лишь изредка заглядывала проведать. Полина кивала на коробки, Бетси улыбалась, щурила темно-карие глаза и тихо притворяла за собой дверь. Сортировка подходила к концу, Полине самой хотелось поскорей заняться переводом.

В ту пятницу шел дождь, прогулку в парк пришлось отменить, Полина жевала свой бутерброд в кладовке, соря крошками на клавиатуру. Она бродила по сети, хотела купить туфли, но передумала, потом нашла вазу венецианского стекла всего за девять долларов, потом залезла в книжное обозрение воскресной «Нью-Йорк Таймс», пробежалась по статьям и критике, зашла в список бестселлеров. Тут она застыла и перестала жевать – «Анна Каренина» стояла на четвертом месте по продажам за прошлую неделю. Между «Ватиканским оборотнем» и «Девственницами Кабула». Полина подозрительно перечитала название и имя автора – «Анна Каренина», Лев Толстой. Проглотила кусок, запила колой и пошла в поиск.

Оказалось, дней десять назад Опра Уинфри в своей телепрограмме расплакалась в прямом эфире, рассказывая о катарсисе, который она испытала, закончив вчера ночью читать эту книгу. И что каждая женщина непременно должна, просто обязана, прочитать этот роман.

Полина усмехнулась, аудитория, скорее всего, неверно истолковала слово «катарсис». Но факт есть факт – миллионы телезрительниц тут же заказали Толстого. Полина взглянула на стену, с древнего фото грозный старик взирал осуждающе, сунув широкие мужицкие ладони под узкий ремешок и угрожающе выставив бороду. Полина пожала плечами, виновато улыбнулась и развела руками. Потом сдула крошки с клавиатуры, вытерла губы. Смяв салфетки, сунула тугой, пестрый комок в мусорную корзину. Вытянула новую папку.

«Село Федотовка Новопреображенского сельсовета Нижнедуванского района немцы заняли 9 июля 1942 года в четверг в 13.00 часов дня. За время оккупации села с 9 июля 1942 года по 29 января 1943 года угнано мирного населения в Германию на каторжные работы 42 человека. Фашисты зверски издевались над гражданами, грабили их и били. Трех 65-летних стариков Вергуна Гордея Федоровича, Золотарева Андрея Тимофеевича и Рыжика Егора Ивановича запрягли в подводу и заставили подвозить бочкой воду из колодца для немецких лошадей. Старики были не в силах везти бочку с водой, за что были зверски избиты немцами, после чего они долго болели.
Из показаний Проценко Е.И., жительницы села Федотовка».
Полина взяла следующий лист, отложила, вернулась к предыдущему, перечитала. С минуту сидела неподвижно, потом выскочила в коридор, добежала до кабинета Бетси. Постояв с документом в руках перед дверью, медленно вернулась к себе.
– Але, пап, привет! – голос у Полины был запыхавшийся, словно она взбиралась по лестнице. — Не, все окей. Нет, все... Да я говорю, нормально все. Пап, ты не помнишь...
Чарльз Рыжик любил руководить, ему нравилось, когда все под контролем. Включая телефонные разговоры.
– Редакция? Нормальная редакция, у меня контракт на три месяца всего... Не знаю... Нет, пока не думала. Да, да, надо искать... Буду... Буду...
Полина беззвучно выругалась, сделала страшные глаза.
– Погоди... Да погоди ты! Я хочу спросить про бабушку.
Чарльз Рыжик, наконец, перестал говорить.
– Пап, ты не знаешь, где она жила во время войны? Ну там, в России. Верней, в Советском Союзе.
Полина барабанила пальцами по столу, потом ухватила ручку и стала чирикать на листе.
– А где в Белоруссии? Ну, какой город... Или деревня?
Лист покрывался каракулями: треугольниками, квадратами и черной соломой.
– А ты не помнишь, она не говорила про село Федотовка? Или про Нижнедуванский район?
В ручке кончилась паста, Полина скомкала лист и вместе с ручкой бросила в мусор.
– Нет, я просто наткнулась на документ один тут... Да, по работе. Ну, я им перевожу архив русский. Нет, почему? Нравится. Я не знаю. Может, на следующей неделе. Да. Да. Угу.
Полина нажала отбой, вышла в коридор.

Бетси выслушала ее, изредка поглядывая в компьютер, у редакторши был роскошный «мак» с монументальным экраном. Полина начала страстно, убедительно, но под конец, выдохлась и уже сама не понимала, зачем пришла и чего хочет. Она замолчала, протянула Бетси копию показаний Проценко, жительницы села Федотовка. Редакторша взяла бумагу, поглядела на нее, вернула Полине. Помолчав, спросила:
– А ты не еврейка?
Полина с сожалением помотала головой.
– Рыжик... – Бетси подняла дуги бровей, словно дегустируя. – Знаешь, звучит вполне по-нашему.
– Нет, это белорусская фамилия. Мне бабушка говорила.
– Жаль... – редакторша скосила черные глаза на экран. — Ну что же они делают... на семь процентов... – пробормотала, щурясь. – Извини. Понимаешь, если бы она была еврейкой,

мы могли бы послать запрос и в немецкий архив, и в белорусский. И по нашим каналам попытаться узнать что-нибудь, через музей Холокоста. И здесь, и в Израиле.
Полина виновато кивнула головой.

В редакции стояла ленивая, летняя тишь. По коридору, в косых лучах солнца светилась белесая пыль. Полину клонило в сон. Она принесла вторую кружку кофе, сделала большой глоток и обожгла язык. В дверь кто-то стукнул — один раз, громко и требовательно.
Вошла Бетси, положила перед Полиной лист.
– Я получила факс...
– Факс? — смеясь, не сдержалась Полина. – Ой, простите, я просто подумала, что...
– Мы имеем дело с такими конторами, которые пользуются до сих пор телеграфом, телетайпом, голубиной почтой и дымовыми сигналами, – назидательно сказала Бетси. – Тут про вашу бабушку.
Полина схватила бумагу.
– Я отправила запрос в эмиграционный архив, – мадам Кляйн усмехнулась, соболиная бровь изогнулась. – По своим каналам... Короче, вот что удалось узнать.
Бетси вышла. Полина начала читать, вспомнив, крикнула в закрытую дверь «Спасибо!». Она ожидала увидеть официальный документ с гербом, печатями и орлами, что-то вроде сертификата или лицензии. На деле бумага оказалась копией корабельного списка. Сверху стояло название судовой компании «Гамбург-Америка Лайн», чуть ниже штамп «Эллис Айленд, эмиграционный центр». Под номером девять Полина нашла Нину Егоровну Рыжик. Пол женский. 1931 года рождения, русская. Прибыла из г. Бремерхафен, Германия.
Полина удивилась, она всегда считала, что бабушка приехала из Австрии.
«Здорова. Прошла натурализацию 3-го апреля 1946 года».
Все. Дальше шел некто Генрих-Отто Гонтмахер. Полина перечитала бабкину строку еще и еще раз. Положила факс на стол, опустила голову. Кровь стучала в висках, она закрыла глаза. И это все? Отец ничего не знает, бабушка умерла, никаких писем, никаких бумаг, никаких документов.
– Как же так... – пробормотала Полина. – Одна строчка в амбарной книге? И все? Почему она ничего не рассказывала?
Хотела все забыть. У нее на глазах сожгли дом, убили отца. Потом Германия, какая-нибудь фабрика или ферма. Про такое вряд ли хочется рассказывать детям на сон грядущий.

В полдень Полина спустилась вниз, вышла в раскаленный город. Слепящее солнце плавило асфальт, в клочке тени у беленой стены сидел на корточках старик негр и читал газету.
От кофе во рту осталась горечь, есть не хотелось. Полина вспомнила, что у нее не осталось никакой одежды, что нужно купить новое белье. Она свернула на Восемьдесят Третью, зашла в «Конвей». Побродив вдоль бесконечных рядов разноцветных тряпок, она вышла на улицу так ничего и не купив. Вдобавок у нее разболелась голова.
До конца обеда оставалось двадцать минут. Она села на жесткую скамью на самом солнцепеке, достала телефон. Открыла книжку, стала перебирать номера, имена, дошла до конца. Ей хотелось просто поговорить с кем-то, сообщить, что она жива. Что с ней не

происходит ничего интересного. Ровным счетом ничего. Что ей грустно, и она не знает, что делать дальше со своей жизнью. А главное, зачем.

Валерий Бочков *родился в Латвии в семье военного лётчика. Вырос в Москве, на Таганке. Окончил художественно-графический ф-т МГПИ. С 2000 года живёт и работает в Вашингтоне.*

Профессиональный художник, более десяти персональных выставок в Европе и США. Дважды приглашался на Эдинбургский фестиваль искусств с персональными экспозициями. В полиграфии представлен агентством "Donna Rosen". Среди клиентов основные периодические издания США и Европы, Национальная Опера, Конгресс США. Основатель и креативный директор "The Val Bochkov Studio" – творческой студии, сотрудничающей в сфере визуальной коммуникации с ведущими рекламными и PR агентствами США.

Писать прозу начал в 2005 году. Сборник рассказов "Шизофрения в разумных дозах" и роман "Автопортрет с луной на шее" вышли в московском издательстве "Рина". Победитель в номинации Проза 2010 конкурса "Согласование времён" .

Автор книг: "Брайтон-Блюз" (2012, "ZA-ZA Verlag", Дюссельдорф); "К югу от Вирджинии" и "Сахарная Мельница" (2013, "ZA-ZA Verlag", Дюссельдорф).

Проза Валерия Бочкова публикуется в российских журналах "Знамя", "Волга", "Новая Юность" и других.

ДАВИД МАРКИШ

ОДИН

Эта яма, наполненная коричневатой прозрачной водой, зияла посреди пустыни; две или три пальмы с финиковыми серёжками под зелёными шляпами лепились к влажному обводу ямы и отбрасывали скупую тень на кряжистый камень под ними, а больше ничего здесь не было: ни животных, ни людей.

Края и нутро ямы были прилежно обмазаны глиной, так что вода не уходила в песок и не пропадала втуне. Водоём, надо думать, подпитывался каким-то источником – донным ключом, что ли, или чем-то иным. Но, глядя с берега вглубь, угадать, как держится вода в яме здесь, в синайских песках, под расплавленным солнцем, было невозможно.

Стоя в ажурной тени пальмы, я лениво раздумывал над этим вопросом, когда мимо меня проскользнул возникший как бы из ничего, из жары и марева, молодой бедуин и, не замедлив лёгкого, почти летучего шага, прыгнул в воду. Он нырнул в чём был – в белой просторной рубахе до земли, из шейной прорези которой выглядывала голова, покрытая жёсткими волосами, свернутыми в колечки. Лицо бедуина имело приятный оливковый оттенок. Возможно, предком этому пареньку приходился чернокожий, завезённый сюда из Африки арабами, промышлявшими работорговлей три-четыре века тому назад. Такое случается в этих местах.

Бедуин плавал и плескался в яме, поглядывая на меня вполне дружелюбно. "Хамма-Муса!" – прокричал он, опуская палец в воду, а потом несколько раз зазывно встряхивая мокрой ладонью: иди, мол, купаться! Чего стоишь на берегу!

Что такое “Хамма-Муса”, я знал и без него: пророк Моисей, проходя здесь в своё время, умылся в вечно горячей воде источника, наполнявшей яму. Меня так и подмывало последовать примеру Моисея, но оставлять без присмотра солдатскую форму, автомат “М-16” и военный джип, на котором я сюда приехал из расположения воинской части, было бы чистым безумием: бедуины, возникавшие из ничего, не признавали частной собственности, и воровство было для них расхожим делом.

Жара была разостлана над водяной ямой и слежавшимся пыльным песком, рассыпанным до самого горизонта. Ни плескавшийся бедуин, ни назойливый рой крупных чёрных мух, внезапно прилетевших, не могли расстроить великой тишины пустыни. Её и война, только что здесь прокатившаяся, с танковым рёвом, взрывами и стрельбой, не смогла ни разрушить, ни даже поколебать.

За две с половиной тысячи лет, со времён Моисея, здесь ничего не изменилось: жара, торжественная тишина высокого театрального зала, докучливые мухи, от которых, хочешь не хочешь, приходится отмахиваться и отбиваться.

Моисей и отбивался, и отмахивался: стаи мух с отвратительным жужжанием вились вокруг его головы, они и мертвеца вывели бы из себя. Моисей не знал, откуда они здесь взялись, ни с того, ни с сего. Ведь только что, когда он сюда пришёл и сел на камень под пальмой, не было ни видно, ни слышно ни одной мухи – и вдруг они возникли и появились, как будто кто-то высыпал их из мешка прямо на голову пришельца. Синайские мухи – явление чудесное, нам не дано в нём разобраться.

Моисей и не пытался. Сидя у воды, он вспоминал песьих мух, как он наслал их на египтян и как люди фараона мучились от них, прямо с ума сходили. Сначала гнусных мушек наслал, но это не помогло, и тогда уже дело дошло до песьих мух.

А теперь он почему-то не может избавиться от этого жалкого клубящегося роя, который не даёт ему спокойно посидеть у воды.
Он почувствовал, как кто-то потянул его за рукав, и повернул голову. У камня стоял подросток Зихри. Моисей помнил его имя, но не знал, приходился ему мальчик двоюродным внуком или троюродным правнуком. И это обстоятельство не играло в его жизни никакой роли и не имело для него ни малейшего значения, как не имеет и для нас, отделённых от той картины прозрачной кладкой времени.
–Дедушка, прогони мух! – попросил Зихри. – Ну, что тебе стоит!
Сказать мальчику, что справиться с такой плёвой задачей он не в силах, что он уже пробовал, но ничего не выходит – этого Моисей не мог себе позволить. Всемогущий выбрал его и направил, чтобы он вывел народ из рабства и привёл в Землю обетованную, Господь дал ему силу и навык истреблять египетское семя и разверзать море – и вот, к смущению сердца, жалкие мухи на берегу водяной ямы неподвластны ему. Открыть это мальчику Зихри – и завтра весь стан жестоковыйного народа восстанет против Моисея, утратившего дар творить чудеса от имени Бога. Молча опустив голову на грудь, Моисей испытывал неловкость души.
А Зихри, удовлетворённо что-то выкрикнув, вроде “Йа!” или “Йо!”, прыгнул с берега в воду, и только его длинная, до земли, белая рубаха мелькнула в воздухе, как оперенье птицы.
Моисей поднял тяжёлую голову и обнаружил с облегчением, что нет никаких мух ни вокруг него, ни в стороне, как будто порывом сильного здорового ветра вымело их отсюда прочь. Хотя и не было, вроде, никакого ветра.
Глядя на Зихри, плескавшегося в коричневатой воде ямы, Моисей мучительно думал и размышлял над тем, почему – его? Почему Господь выбрал именно его из многих и поставил над народом? Да, он убил надсмотрщика палкой, как вонючего шакала, и он не сожалеет об этом: египтянин безнаказанно издевался над евреем и бил его. Но разве, чтоб встать над людьми и повести их, обязательно нужно кого-то убить палкой? Обязательно и достаточно?
Однозначно ответить на этот нелёгкий вопрос Моисей не умел, но и такая расплывчатая неопределённость, как видно, входила в замысел Творца. Благоговейно исходя из этого предположения, Моисей принимал сущее как проявление непостижимой Божьей власти и тем самым немного подслащал свою надсаду. В ажурной тени пальмы он вспоминал ту давнюю историю с надсмотрщиком, и как, таясь, присып*а*л тело убитого камнями и песком. Сидя здесь, на берегу синайской ямы, Моисей тяжко думал над этим уходящим вглубь времён несложным действием – убийством человека человеком. А Господь с охваченной пламенем горы здесь, по соседству, призывал и повелевал: “Не убивай!”
На прошлой неделе, шепчутся люди, у подножья этой горы Моисей убил три тысячи человек. Правда, он буйствовал и кричал страшно и неразборчиво, разбил каменные плиты с наставлениями Всевышнего и обратил свой гнев против соплеменников – буйных, как он сам, и жестоковыйных. Какие три тысячи?! Хорошо, если тридцать человек, заводил и бунтовщиков, легли под мечами верных левитов, которых он послал для расправы. Верно: Моисей разрушил золотого тельца, бросил идола в огонь, размешал прах и пепел в воде и заставил пить эту бурду тех, кто святотатственно и предательски поклонился кумиру. Много чего ещё случилось в тот длинный день… Но не от руки Моисея свалились те тридцать на камни, и дыханье жизни их покинуло. А теперь разве придёт кому-нибудь в голову кивнуть на левитов? Куда проще вопить: “Моисей убил три

тысячи человек, взял и убил из-за тельца, и вот плачут вдовы и сироты над изрубленными трупами!” Моисей, значит, убил! Как, каким образом Моисей “взял и убил”? Ну, как… Если он наслал мор на египетских первенцев и истребил множество, то и эти три тысячи смог преспокойно уложить… Вот ведь как.

Праздно сидеть у воды, в тиши полдня. Дремать с открытыми глазами, словно бы паря над землёй, в тёплой синеве неба. В таком отстранённом паренье вопросы к Богу не всегда остаются безответными. Его слова приходят то ли из высших сфер, то ли из недр земли. Приходят и достигают слуха того, кто вслушивается… В тот длинный день Моисей, сходя с горы к мятежному народу, вслушивался всею душой, и вот Бог повелел ему послать левитов, чтоб они мечом истребили бунтовщиков и заводил – не сам же он это придумал и решил! Бог сокрушил каменные доски с заповедями – и уже после этого, как бы временно отменив письменные указания, включая и “Не убивай”, внушил Моисею послать левитов на их кровавую работу.

Аарон, собственноручно изготовивший золотого рогатого идола, выглядел виноватей всех других – но Бог не настаивал на истреблении его с лица земли; во всяком случае, Моисей не расслышал ничего подобного. А если б Всевышний и указал на Аарона истребляющим перстом, Моисей вступился бы за брата. Собрался с силами и вступил бы в спор с Всевышним. Бог допускал спор с людьми; Он, с запасом терпения, выслушивал их претензии, зачастую довольно-таки дерзкие. Может быть, благодаря отменному упрямству сберегли евреи, всему вопреки, свою приверженность и преданность Невидимому. Бог был Главным Устроителем; на него можно было ворчать, но против него нельзя было роптать.

Потом, после разрушения идола и наказания заводил, когда народ под горой немного одумался и пришёл в себя, Моисей снова поднялся на гору Синай. Указания Всевышнего, рукописно изложенные на каменных скрижалях и в приступе гнева и ярости разбитые Моисеем, должны быть восстановлены. Заповедь “Не убивай!” никто не отменял, и теперь она вернётся в еврейский стан после короткого перерыва.

Мальчик Зихри продолжал плескаться в обмазанном глиной водоёме. Моисей глядел на него рассеянно, его мысли клубились на каменистом склоне горы, объятой пламенем и опоясанной тучей, недалёко отсюда. Опустив морщинистый лоб с мощными надбровными дугами на руку, в расставленные пальцы ладони, Моисей видел перед собой эту пылающую гору и себя на ней – точкой на дымной тропе. Подъём был крут, Моисей тяжело дышал, почти задыхался. Его вели наверх и тянули к вершине накопленные мучительные вопросы, он проборматывал их или даже не высказывал, а лишь представлял себе. И в ответ слышал голос, и то был голос Бога.

Вопросы эти, по большей части горестные, требовали, по разумению Моисея, неукоснительного и немедленного запрета. Только запретом, необратимым “нет” можно удержать народ от разброда и гибели. Запрет на смертоубийство, на воровство. Запрет на создание идола и поклонение ему. Запрет на совращение жены ближнего или дальнего – это равноценно воровству чужого имущества. Запрет на пренебрежение старыми родителями, уже неспособными оберечь и накормить себя усилиями своих рук.

Тот ответный голос не был насыщен звуком и поделён на слова. То был, скорее, гул, а то и гула не было никакого, а только осмысленная сверкающая тишина, обволокшая Моисея на каменном склоне горы и беспрекословно подтвердившая верность его разумений: да, не убивать, не создавать кумиров. Не красть. Не желать и не соблазнять. Не бросать стариков на произвол судьбы.

Моисей не видел подтвердившего – ни лица его, ни спины, хотя и знал, кем был Тот, Кто Подтвердил, и не сомневался в своём знании – как и в том, что, увидь он Бога своими глазами, от него в тот же миг не осталось бы ни пепла, ни праха. Ничего.
Это не пугало Моисея: за особые отношения с Богом следовало платить, и высшей мерой платы служила сама жизнь; он в этом не сомневался. Был он уверен и в том, что Невидимый и Всемогущий своей волей выбрал его из многих и назначил своим уполномоченным, и вот он, Моисей, стал тем, кем является. И, так и не свыкшись с новым положением, Моисей старательно исполнял возложенное на него.
Спасти евреев от фараонова рабства, вернуть им свободу и привести в Землю обетованную; вот, собственно, и все. На этом задача Моисея исчерпывалась. “Рабами были мы в земле египетской…” – это воспоминание останется в памяти народа как тавро, как горький сон.
Останется… Откинув назад, так что они пластами легли на плечи, густые седые волосы, Моисей думал и размышлял над тем, что свобода может искалечить или убить, она убивает человека не хуже и не лучше, чем рабство его убивает. Это не вполне понятное ему самому открытие Моисей привычно адресовал Богу и, напрягая слух, ждал разъяснительного ответа, но ответом служила непроницаемая глухая тишина, висевшая над водяной ямой. В обитаемом мире – на илистых землях Египта, в чёрной Нубии, горном Моаве и совсем уже таинственных краях на восход от реки Иордан все жители разделяются на два сорта: вольные и рабы. Рабов куда больше, чем вольных, но общий счёт невольникам никто не ведёт – даже египтяне, которые, несмотря на кажущееся легкомыслие и ветреность нрава, по праву служат примером пунктуальности и организованности для окружающих народов. Что уж тут говорить о чёрных нубийцах и горных дикарях! А ведь не надо забывать и о кочевниках пустыни – этих головорезах, которые и чужое, и своё привыкли считать сквозь пальцы. Откуда же им знать, сколько у них рабов? Вчера двоих продал, третьего дня одного убил – и забыл, уже не помнит об этом ничего за текущими делами. Какой же тут может быть поголовный подсчёт взамен расплывчатого “один, два, три, много”? Сами рабы тоже ничего не считают, им это ни к чему, хотя могли бы и озаботиться, и прикинуть хотя бы в общих чертах, для будущих поколений. Хотя и тут не всё просто: разница между рабом и хозяином иногда носит условный, чисто формальный характер.
Ну да, ну да, раб трудится на хозяина, и это его подневольное предназначение. Но и хозяин, вместо того чтобы отдыхать и бить баклуши, трудится, не покладая рук и не смыкая глаз: глядит за рабами и скотиной, рачительно управляет хозяйством, наблюдает за порядком в доме – а без этого каждый из домочадцев делал бы то, что ему в голову взбредёт и расшатывал бы заведённый порядок вещей. Рабы живут при доме, а иные приближенные невольники и в самом доме какого-нибудь чиновника или начальника средней руки, на правах как бы членов семьи. А то, что хозяин вправе прибить раба, и тот побаивается, иногда от всей души – так что ж? Есть управа и на хозяина, и он тоже боится, что чиновник повыше рангом его пришибёт – за дело или ни за что, ни про что. Но и чиновник повыше рангом боится своего начальника, который ещё повыше, и чем он выше, тем сильней боятся его те, кто пониже, просто дрожат перед ним. А самый высокий придворный чиновник как огня боится фараона, который по своему усмотрению может всякому подчинённому отрубить голову, или даже, как последнего раба, живьём скормить крокодилам. Но и фараон боится – отравы, змеи, ядовитого паука.

И все боятся Бога – и раб в хижине, и хозяин в поместье, и чиновник в доме, и фараон во дворце. И Моисей, сидящий у воды.
Получалось так, что каждого человека преследует горе или страх перед горем, и только объятые высокой идеей и захваченные ею без остатка закрывают глаза перед горькими обстоятельствами жизни и пребывают в счастливом ослепленье. У раба есть все необходимое для существования, кроме свободы – но можно ли попробовать свободу на вкус, как мясо в похлёбке? Раб получает пропитание от хозяина, а свободный земледелец протягивает ноги от бескормицы в голодный год. Зачем тогда свобода, если она таит в себе смерть? Свобода, которую нельзя положить в карман или в котел? Моисей поднял народ, пообещав освобожденье от привычного рабства, посулил прекрасную свободу, о которой никто толком ничего не знал. Одержимые мечтой о незнакомой свободе, евреи готовы были сражаться за нее и рисковать ради нее жизнью. Где-то в отдаленье, за пустыней, их ждет собственная земля, на которой они заживут счастливо, расплодятся и размножатся, заведут скот и рабов. И эта земля, заповеданная им Невидимым и сочащаяся млеком и медом в своем далеке, была для них куда более представима и предметна, чем свобода тащиться по бесплодным пескам и камням Синая.
Моисей знал об этом. Он один и знал – из всего своего поколения. Его соплеменники видели в нём светящегося хранителя идеи, вожака и возглавителя, и готовы были подчиниться его воле – из страха перед ним и от преклонения перед идеей. Он, грозно предостерегший народ от создания кумиров, сам сделался непререкаемым кумиром, своего рода золотым рогачом, высеченным из одухотворенного камня символом освобождения и Исхода, которому не дано закончиться никогда, потому что рабство духа приходит к человеку с первым вдохом, а уходит с последним выдохом. И Бог этому не препятствует.
Моисей знал и это. Всемогущий не появлялся над водоемом, не подтверждал знание Моисея, но и не опровергал его. А Моисей ждал подтвержденья – знака или звука, ждал и надеялся, и не показывал вида, потому что надежда это слабость, а проявление слабости несовместимо с поведением вождя. Человеческие чувства не пристали символу, их подавление приносит боль душе – но и это входит в миссию Моисея: испытывать боль, но не выказывать её.
За спиной Моисея послышались шаги. Он оглянулся, ожидая увидеть Аарона, для которого брат был доступен во всякое время дня и ночи, в то время как другие люди остерегались нарушать спокойствие вождя и приближаться без веской причины. Но то был не Аарон, а Ципора – жена, дочь Иофора из Мадиама.
–Я за мальчиком, – объяснила свой приход Ципора. –Заберу его, чтоб он тебе не мешал… Зихри! А ну, вылезай!
Зихри выбрался из воды и, двумя руками выкручивая мокрый подол длинной, до земли, белой рубахи, остался стоять на глиняном обводе ямы. Он хотел побыть здесь, а не тащиться обратно в стан по солнцепеку. Да и Моисею хотелось того же – мальчик своим беспокойным присутствием оживлял унылый вид этого пустынного угла обитаемого мира. Да и Ципора здесь, как ни странно, была к месту. Это немного удивило Моисея: год за годом жена как бы вовсе не существовала для него, а когда она изредка появлялась в поле зрения, ничего, кроме глухого раздражения и неловкости он не испытывал. И вот сейчас, здесь, у тихой воды, на него вдруг, нежданно-негаданно повеяло надежной крепостью семьи – давно забытым чувством, пережитым им на холмах Мадиама, где он, по обыкновению и по правилам жизни, пас скот своего тестя священника Иофора, отца

Ципоры. Тривиальное начало истории – дочери священника подогнали овец к колодцу, молодые люди им препятствовали и задирали, случившийся здесь Моисей вступился за девушек и прогнал задир, завязалось знакомство с благодарными пастушками, потом с их отцом Иофором. А потом сватовство и свадьба. Мужчина и женщина. Муж и жена. Брачный шатер. Семейный очаг, освещающий наклонные полсти жилища, а за ними простерт недружелюбный бескрайний мир, до которого нет дела двоим у послушного костра. Медовые узы, подверженные распаду, как и всё в нашем мире.

Но вот, рядом со старухой Ципорой и мальчиком, то ли внуком, то ли правнуком – потеплело на душе! Только что палило и пылало – а тут пришло благотворное тепло, целебное, и душный вихрь избранничества отступил. У воды сидел состарившийся пастух Моисей, а не грозный Посланец Божий. Ципора увидела это своими старыми глазами, и золотые блики того давнего костерка в тёмном шатре она разглядела.

–Хочешь, принесу тебе твою свирель? – спросила Ципора. – Я быстро…

–Откуда она у тебя? – повернув голову к жене, спросил Моисей. – Неужели сохранилась?

–Я её берегу… – сказала Ципора.

Моисей улыбнулся, опустив голову и пряча лицо. Он не смог бы вспомнить, когда улыбался в последний раз, а люди – те и вовсе этого не знали. Сберегла пастушью дудку, на которой он играл, когда гонял скот Иофора, своего тестя! Сидел в теньке, под деревом, как сейчас, и наигрывал на дудочке, что на сердце взбредёт. Тростниковая свирель с дырочками на спине. Моисей пробегал по ним пальцами, и дул тихонько, и пел несмело – сам себе не мог поверить, что слова вольно, как у всех людей, вытекают изо рта. Это было чудо! Такое же чудо, как его разглаженная речь при обращении к Богу: слова не спотыкаются, вольно текут, не оскорбляя слуха Всемогущего.

Как это у него получается? Когда он говорит к Богу, или поёт, речь его гладка, как обточенный водою кругляк, а когда он, по мере надобности, разговаривает с людьми, дефект речи даёт о себе знать, слова сбиваются с пути и вызывают у слушателей ухмылку, а то и обидный смех в рукав.

Может, поэтому, много лет назад, он так любил играть на свирели и петь в одиночестве, если не считать овец, прядавших ушами на холмах Мадиама. Никто не знал об этом его пристрастии к пению, один Бог знал.

–Бережешь… – вслед за Ципорой повторил Моисей. – Скажи кому-нибудь, пусть принесут свирель в мой шатер.

Да, пусть принесут – но не сама Ципора пускай несет, а кто-нибудь другой. Ципоре нечего делать в его шатре: вождь, выведший евреев из египетского рабства, не может быть скручен семейными узами. Его удел – наставлять народ, а не внуков с правнуками нянчить.

Придерживая влажный подол, Зихри нашёл травянистое местечко недалеко от Моисея и сел. Солнце пекло, распяленная на коленях длинная рубаха быстро сохла. Мальчик откинулся назад, оперся вытянутыми за спиной прямыми руками о землю и застыл; он теперь был похож на крупную диковинную птицу, изготовившуюся к взлету.

Моисей, Ципора, Зихри. Полдень у воды.

–А помнишь, - нарушая горячую тишину, сказала Ципора, – как Хагай пришёл?

Моисей помнил Хагая хорошо, но не вспоминал о нём никогда. Этот Хагай был овечий человек, он пас овец неподалёку от шатров Иофора, в соседней долине. Общее занятие время от времени сводило Моисея с Хагаем на меже их пастбищ или у водопоя. Они не были близкими друзьями, а так – приятелями, и это неудивительно: немногословный

Моисей предпочитал одиночество, а говорун Хагай, которого неодолимо тянуло к общению, рта не закрывал, как только предоставлялась возможность его открыть при встрече с пастухами или даже вовсе незнакомыми путниками, шагавшими пешком с посошком по своим делам. Может, мнимая таинственность Моисея, происходившая от его замкнутости и вынужденного молчания, влекла к себе рубаху-парня Хагая, как влечёт мотылька или комара золотой лепесток огня над масляным светильником. Хагай шестым звериным чувством, в нём отменно развитым, чуял в своём соседе сдерживаемую силу, которая, вырвись она наружу, сполна себя проявит неведомо каким образом и кому на пользу.

На свадьбу Моисея с Ципорой, объявленную загодя, приглашений никому не передавали: все желающие, а других и не нашлось в окрестностях, могли придти и праздновать вместе с молодыми. Явился и Хагай.

Хагай явился вскоре после полудня, с первыми гостями. Он отозвал Моисея в сторонку, приобнял его за плечи и, приблизив лицо к его лицу, сказал:

–Жениху почтенье и благословенье! Тебе скоро понадобится много дополнительных сил и твёрдости, Бог тебе в помощь, Моисей! И он поможет, вот увидишь. Я в этом не сомневаюсь ни капельки, потому что знаю тебя; Бог тебя любит. И вот, по такому случаю, я принёс тебе в узелке того, кто распалит твою жениховскую страсть и укрепит твои чресла. Вот, держи! Дарю от всего сердца, хотя, честно говоря, от сердца и отрываю. Нет-нет, не благодари!

И он передал Моисею завёрнутую в промасленную тряпицу небольшую, с кулак, фигурку рогатого тельца, вырезанную из дерева и покрытую облупившейся здесь и там позолотой.

–Я получил это от моего отца, – пояснил Хагай, с удовлетворением глядя, как Моисей, оцепенев, уставился на рогача в своей ладони, – а мой отец от своего отца. Но ты не беспокойся, у меня ещё есть: козёл, осёл, кормящая женщина.

–Это же идол! - запинаясь, вымолвил Моисей. – А я единобожец.

–Ну и что ж! – ничуть не озаботился Хагай. – Одно другому не помеха. У нас тут много живёт единобожцев, они утром молятся главному богу, а после обеда второстепенным, но тоже очень полезным. От этого никому хуже не бывает, а только лучше.

Бросив золочёного тельца на землю, себе под ноги, Моисей, сдерживая ярость, принялся с силою сжимать и разжимать кулаки. Что сделать ему с этим безмозглым болтуном, осмелившимся принести на его, Моисееву, свадьбу рогатого идола и в придачу призывавшим молиться рогачу, чтоб тот наделил жениха дополнительной мужеской силой! Убить Хагая? Это было бы проще всего, это было бы, наверно, угодно Единственному, но Моисей не хотел проливать кровь и портить праздник, ещё толком не начавшийся. После того египтянина, пришибленного палкой, Моисей никого не убивал; этот, строго говоря, необходимый труд был ему отвратителен. И вот он стоял над рогатым идолом, сжимая и разжимая кулаки, и раздумывал, что теперь сделать и как выйти с честью из ужасного положения. А Хагай стоял против него, чуя своим шестым звериным чувством, что дело принимает нехороший оборот и пора, не мешкая, бежать отсюда без оглядки.

Ципора подошла неслышно и, выглядывая из-за его плеча, встала позади Моисея.

–Он это принёс, – сказал Моисей и указал ногой на идола, лежавшего на земле, на боку.

–Он принёс, пускай сам и уносит, – сказала Ципора.

То было разумное предложение, оно избавляло Моисея от тяжких хлопот. Пускай уносит, и подальше. Так он и сказал Хагаю.

–А потом возвращайся, – добавила Ципора. – Как раз мясо поспеет.
–Только руки почище вымой! – предостерёг Моисей, повернулся и зашагал к шатрам. Ципора поспевала за ним.
А Хагай наклонился, подобрал тельца с земли и поспешил в противоположенном направлении. Опасность миновала, от души у него отлегло.
Он припрятал свой непринятый подарок среди камней, в неприметном месте, в узком горле долины, а когда вернулся, пиршество было в разгаре, и Хагай незаметно присоединился к гостям. Едоки обмакивали душистый хлеб в оливковое масло, нахваливали потроха - печень, почки и мозг, предшествовавшие нежному телячьему мясу, и пили вино, сладкое, как смоква, и хмельное, как сон. И это было только начало. Ждали своей кухонной участи овечки и козы из стад Иофора, и вино отдыхало в бурдюках, прежде чем наполнить собою объёмистые высокие кувшины, и хлеб, хлеб, этот несравнимый ни с чем на свете небесный дар вызревал и розовел на раскалённых стенках круглых каменных печей – празднество было рассчитано на три дня и три ночи, и только жених с невестой обладали правом время от времени покидать пиршество и удаляться для кратковременного отдыха в брачный шатер. Благорасположенные гости – те из них, которые проявили незаурядную крепость, выдержали нагрузки и перегрузки и, не напившись допьяна, сохранили трезвость взгляда – насчитали двенадцать таких походов Моисея с Ципорой в новобрачный шатер.
И никто не ругал Хагая за его деревянного тельца, не пришедшегося здесь ко двору, и самого себя ему не за что было корить: не по злому умыслу он принес его сюда, а по наивности сердца.
Только три Божьих души знали об этом случае: Моисей, Ципора и сам Хагай. Но Хагай был уже не в счет: на другое лето после свадьбы, когда он с треском пробирался сквозь сухие тростниковые заросли у Горького моря, пастухи Моава приняли его за дикого вепря, натравили собак, и те кинулись на него и порвали.
–Помнишь? – с робкой настойчивостью повторила Ципора.
–Помню, – откликнулся Моисей.
–Мне уйти? – спросила Ципора.
–Побудь ещё, – сказал Моисей. – И мальчик пусть посидит.

В свой шатёр Моисей вернулся к вечеру.
Шатер, стоявший немного в стороне от стана, был похож на гору: подошва, торс, вершина. Закатное солнце, падая на склон шатра, окрашивало суровую ткань в цвет червонного золота.
Свирель лежала на ложе Моисея – узком топчане на квадратных ножках, застланном шерстяным плотным покрывалом. Войдя, Моисей с порога различил тонкую белую дудочку на коричневой шерсти покрывала. Мигал огонёк масляного светильника, вечерний ветер пел и гудел над шатром.
Хорошо, что Ципора появилась там, у воды. Хорошо, что ушла во время и послала кого-то принести свирель в шатёр. Моисей взял дудочку в руки, приблизил ее к губам. Она почти ничего не весила, как будто была вырезана из звуков, а не из дерева. Да и время, протянувшееся от пастушьей долины, где Моисей играл когда-то на этой свирели и вольно пел в совершенном одиночестве, вплоть до нынешнего дня, нельзя было взвесить, потому что оно не весило ничего. Время, состоящее из ушедших в туман прошлого дней, нагруженных по самый край, как гружённые доверху сыпучим зерном нильские барки,

тяжким трудом, и ночей, полных зыбучими снами. Да и дальше той долины уходило прошедшее время – к Нилу, к его тростникам, в которых покачивалась просмоленная плетёная корзинка с трёхмесячным младенцем-подкидышем. Вяло пошлёпывали по берегу смуглые ладошки волн, младенец Моисей глядел из своей корзинки на мир, умещавшийся в бездонном небе над рекой. Там, высоко, на распяленных пальцах Творца сверкали нити наших судеб, которые никто из нас – ни младенец, ни старец – не умеет разгадать.

Пробежав пальцами правой руки по трём круглым оконцам в белом теле свирели, вдоль её прохладной спины, Моисей заиграл. Он не забыл, как обращаться с ней, чтобы её голос звучал по-старому – чисто и уверенно, как правда. Он играл и, недалеко отводя дудочку от лица, пел, и слова без помех лились из его рта. Моисей пел о том, что ноша, возложенная на него Богом, непомерно тяжела, он жаловался Всевышнему на него самого, жаловался и ворчал – но не роптал. Каменная ответственность, невыполнение которой означало верную смерть, стала его жизнью. Освободи его Создатель от этой ответственности, он испытал бы гибельное опустошение души и умер бы в тот же миг. Ему, скрытно говоря, нравилось быть ответственным, и непомерная тяжесть, происходившая от этой ответственности, тоже нравилась. Таким образом, он искренне жаловался и ворчал – но и того, что может утратить своё ответственное назначение, страшился тоже совершенно искренне. Этот страх его не отпускал, и сама мысль, что он может стать прежним Моисеем, пасущим овец тестя, ему и в голову не приходила. Не приходила, но без спроса витала вблизи от его сердца – соблазнительная и желанная. Такая двойственность – желание и вместе с тем его отвержение – была непонятна, и Моисей не хотел в ней разбираться: ее темный исток, по его разумению, уходил в область Божьего промысла, недоступного смертному человеку.

Деревянная дудка, этот наделённый голосом обструганный обрубок прошлого, побудил Моисея оглянуться назад, и то, что он увидел там, тронуло его душу теплом. Но и будущее, начинавшееся сейчас, в тёмном шатре, наполненном звучаньем свирели, внятно обозначилось перед Моисеем. Дорога дней уходила вперёд и вела его к горе над рекой, скользившей в зелёных берегах. Вершину горы венчала ровная площадка, с неё можно было разглядеть всю землю заречья вплоть до самого моря. И нагорная эта площадка была видна отовсюду в мире.

–Я выполню возложенное, – пел Моисей, –
приведу народ мой к Иордану,
и здесь определён для меня конец пути:
взойду на гору Нево, и, сытый днями,
продолжу своё восхождение к Богу.

Давид Маркиш *родился в 1938 году в Москве. Отец – известный еврейский поэт Перец Маркиш (1895-1952), расстрелянный по делу Еврейского антифашистского комитета. Был сослан с матерью, сестрой и братом в Казахстан. В 1954 году вернулся в Москву из ссылки. Репатриировался в Израиль в 1972 году.*

Автор более двух десятков книг; 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 - на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии).

Лауреат израильских и зарубежных литературных премий.

ГЕННАДИЙ КАЦОВ

365 ДНЕЙ ВОКРУГ СОЛНЦА

Нью-йоркским издательством “КРиК” готовится к выходу в свет новый поэтический сборник Геннадия Кацова "365 дней вокруг Солнца".
В настоящую подборку вошли стихи из новой книги.
Предыдущая книга Г.Кацова "Меж потолком и полом" (осень 2013 года) попала в лонг-лист "Русской премии".

Букет
Недельной давности стоит букет
В настольной вазе; сколько ни меняй
Теперь ты воду, не вернется цвет
К бутону. Он не смотрит на меня.

Стеблей сутулых, словно старичков,
Стоит толпа, согбенных их фигур
Уже не тронет время – и таков
Итог в финале. Равномерный гул,

Что после жизни заменяет речь
Всему живому, в комнате стоит:
Они склонились, словно уберечь
Всё на столе еще им предстоит.

Бессонница
Земная ночь просмотрена до дыр,
И мне не спится в эту ночь глухую –
Я не волнуюсь, вовсе не психую,
И жду рассвета. Так приходят в мир
Из дальних снов: в бездонной пустоте,
Где всякий звук воспринимаешь кожей,
Где, славя вечность, тени все похожи
На чей-то обезумевший тотем,
Сквозь гроты темноты плывешь один
Из сновидений, в чьих, себя не помня,
Все также слепо пребывая в коме,
Объятиях звенит во тьме «дин-дин»,
Возможно, но иначе, по тебе,
Не страхом смерти, а в канун крушенья,
Как у индусов – ужасом рожденья,
Всей жутью света, что затем в судьбе
Тебя протащит болью в узкий миг,
Начав отсчет и дней твоих, и века –
И медленно раскроешь оба века,

Коль луч рассветный в комнату проник.

Полярная воронка над Нью-Йорком
“... Гибель Titanic’а, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)“.
А.А. Блок, запись в дневнике (5 апреля 1912 г.)

Ветер метет по следам, что лежат со вчера,
Снежную взвесь, распыляя по воздуху жалость,
Мимо промерзших ступеней январских террас,
В двери, затем и в прихожие et cetera,
В шторе найдя сквозняком удаленную жалюзь.

С Арктики в Новую Англию словно бы лаз
В воздухе вырыт, и сверху воронкой полярной
Долго глядит бесконечности вогнутый глаз,
Черным зрачком отражая напуганных нас,
В наших домах опечатанных, будто в футлярах.

Что же останется, если не день, и не два
Это продлится? И если воронка остудит
Все тротуары и в трещинах все дерева,
Что на морозе остыли и живы едва,
Равно как живы еще не остывшие люди.

Столбик термометра, словно навылет пробит,
Падает навзничь по ту нулевую отметку,
Где ожидают привычный размереный быт,
Мысль о тепле, чей домашний искус не забыт, —
Зимние встречи с промозглым в зиянии ветром.

Гулким блокбастером тянется то, что темно,
Напоминая о том, что застыло над нами
Звонкой воронкой, всезвездной тоской ледяной,
Тем, что когда-нибудь между тобою и мной
Вдруг вертикально возникнет, подобно цунами.

Рожденному в Крыму
Февральским днем евпаторийский пляж
Избит тяжелой ледяной волною
И чайка неподвижно, как муляж,
Стоит среди песка, протяжно ноя.

Направо вход в распахнутый Курзал,
Трамвай отходит в полдень на Мойнаки,
О чем тебе еще не рассказал
Татарин, продававший козинаки.

На Набережной духовой оркестр
Играет что-то вроде венских вальсов,
И незаполнено одно из мест,
В котором будет летом бочка с квасом.

А дальше – не заполнено Гнездо
Летящей ласточки, и зимний Ливадийский
Дворец пустует, как забытый дом,
Что брошен, не прощаясь, по-английски.

Дорога заросла на Симеиз,
Визирь не бросит, уходя, монетки
В волну, чтобы вернуться; вечный бриз
Не тронул море, лески, лодки, ветки.

Еще пустует Крым, коль не рожден
Пока ты в нем, и все еще от груза
Бессрочной памяти освобожден,
От всех реалий роковых Союза.

Пройдет еще лет двадцать и на льду
Потерпим поражение от чехов,
И будет плакать в городском саду
В далекой Ялте безутешный Чехов.

***

Безразмерного солнца оранжевый круглый проем
В неизбывное прошлое, где возвращению рады,
Где так солнечно ночью и так ослепительно днем
Над утопией города с гордой приставкой – «детсада».

Мир наивен и кроток, и если уйти за порог,
Уползти по ступенькам туда, где такие же дети,
Все, что дальше случится, пойдет обязательно впрок,
Как и все, что случится на этой счастливой планете.

Будет все, что вверху, беззаботно куда-то лететь,
То, что ростом с тебя, обступать хороводом плотнее,
И нет явной причины куда-то из детства хотеть,
И, как следствие, повода нет становиться взрослее.

***

В любом театре – и военных действий –
(Где зрители встречаются с актерами,
Как, без антракта, гений и злодейство,

Хотя не ясно, кто из них которое;

Где от галерки до партера быстро
Сменяются, как кадры, декорации,
И в третьем акте надоевший выстрел
Не поднимает драматурга акции;

Где свет от рампы выдает в герое
И возраст, и печеночные колики,
И долгий путь к мигрени с геморроем,
И непростую долю алкоголика;

Где он выходит в роли: то ли нищий,
Коль то ли принцем сразу не предстал еще,
И громкий диалог с суфлерской нишей
Ведет, подобно ритору с ристалища)

Весь антураж с понятным интересом
Следит за каждой линией сюжетною,
Прекрасно помня, кто в похожих пьесах
Был палачем, а кто – невинной жертвою.

И будущее – глубиною с шахту,
Да действующих лиц не сыщешь с факелом,
Пока прикованы глаза ландшафта
К какому-никакому «мазерфакеру»,

А он на бис, не брезгуя повтором,
Уже опять готов войти в историю,
Пока длиною с частокол забора
Ему внимает вся аудитория

До горизонта, что далеким эхом
Даст глубину необозримой пустоши, –
И пьесе предстоит идти с успехом,
Покуда занавес случайно не опустится.

***

Что-то вроде густого плюща разделяет дневной этот сон,
В нем привычно темно изнутри, и светло непривычно снаружи;
Не вставая с дивана, проходишь сквозь дверь на февральский балкон,
Где тебя ни одна из вещей окружающих не обнаружит.

Оглянись. Хотя нет: ты, прозрачный двойник, ощущаешь, что там,
За стеклом, меж балконом и в спальне тобою оставленным спящим,
Возникает в мгновенном забвенье слепящая глаз пустота,

Что с тех пор существует в единственном времени – ненастоящем.

Пробудившись когда-нибудь, вспомнить (что сразу же значит, забыть)
Ничего ты не сможешь, и только в грядущем останется повод
Почему-то считать, что явиться во сне, наяву, то есть быть –
Это значит явиться совсем одиноким. И быть для другого.

***

Зал ожидания. Фонарь покажет часть перрона
И от окна летящий снег куда-нибудь во тьму.
Подходит поезд ровно в семь с тем номером вагона,
Что, как известно, только мне известен одному.

И, как известно, мой маршрут из пункта А продлится
В какой-нибудь из пунктов Б, где тоже есть вокзал,
О чем меня предупредит, надеюсь, проводница,
Поскольку мой конечный пункт никто мне не назвал.

Все, что я знаю: есть состав и сотни пассажиров,
Как только я в него войду, по счету до пяти
Он отойдет, но как-то так здесь без меня сложилось,
Что я не знаю на какой мне станции сойти.

Часы идут, согласовав срок с купленным билетом,
И время донести багаж до кресла у окна:
Речь не о том, что там, в конце, путь озарится светом,
А лишь о том, что цель пути сейчас мне не ясна.

Буфет с буфетчицей, стакан с привычным бутербродом,
Открыты двери и пора прощаться черт-те с кем,
Но я, похоже, здесь один среди всего народа
Иду, не ведая куда, а главное – зачем.

И пол вдруг двинется вперед, и осторожно стены
В час отправленья попадут в чрезмерный ритм колес,
И даль сугробами взлетит, как бы взбивая пену
Пространства, чей простор меня немедленно унес.

Вокзал, метель, в ночи фонарь и сам застывший поезд
Помчатся, с панорамой всей сцепившись наяву,
И предстоит нам общий путь, что, как известно, поиск
Конца пути, что пунктом Б однажды назову.

Finita

… И ты, знак бесконечности открыв
Надежный, как таблица умноженья,

Возможность оставаться без движенья
Увидишь, словно выход из игры.

Никто не лжет. Хотя, не все равно
Тебе, чем завершится аллилуйя, -
И вытянувшись, как для поцелуя,
Взлетает ангел. Без тебя. Давно.

Спасение

Лес все темней, свет от свечи плотнее,
Все уже и запутанней тропа,
Все больше страхов, порожденных ею,
О том, что заблудился и пропал.

По сторонам выскакивают чаще
Уродливые формы из теней,
Должно быть, те предвестники несчастий,
Что знал Улисс и находил Эней.

Перетекает вечер в ночь неслышно,
Как будто затаился кто-то там,
В холодной тьме, и в спину тихо дышит,
И черной веткой – след его хвоста.

На каждый хруст моих шагов – затишье,
Взгляд от звезды навязчивей в сто крат,
И лес, как кот играя с шалой мышью,
В игре со мной предскажет результат.

Треклятый холод одолеть поможет
Любого путника и посильней меня,
А лес глубок, все менее похожий
На тот, который знал при свете дня.

А лес дремуч, в сплошном его молчанье,
Как в лабиринте, пропадает звук,
И небо вдаль уходит со свечами,
В тьму погружая все, что есть вокруг.

Все ближе блики и все резче тени,
Свеча в руке дрожит и меркнет свет,
Меня объединяя вместе с теми,
Кто прежде проходил, оставив след.

Стекает воск с ладони, меньше света
В хранимой мною жизни огонька,

И нет надежд на то, что, может, где-то
Добавится еще одна строка.

Но дальний голос над листом бумаги,
Что сам себе в ночной тиши бубнит,
Я вдруг услышу – по любой из магий
Он, словно в мифе Ариадны нить.

В его усталом и безличном тоне,
В спокойной речи и порядке слов
Вой ветра захлебнется и утонет,
Оставит лес последний свой улов.

Хватило б веры и любви на Б-га –
В той фразе и в той сдержанности чувств:
«Мой друг, чтобы верней найти дорогу, -
Услышал я, – задуй теперь свечу».

Эклога. Двое в горах

- Как в безмолвных отверстиях флейты рождается звук
Чувством выдоха, жадным стремлением к жизни, руками,
Так в горах для мелодий хватает каких-нибудь двух
Инструментов, и чаще всего – это ветер и камень.
В незнакомо звучащей тональности горной гряды,
В безучастных симфониях чуждых вершин и ущелий,
Что твои, музыкант, означают сегодня труды?
В чем твои, называющий ноты, желанья и цели?

- Да, не странно ли то, что в краях, где играют ветра,
Замещая прекрасно поэзию, музыку, танец,
Кто-то средств выражения ищет иных, наиграв
То, что в форме искусства в искусственном виде предстанет.
В каждодневных шедеврах ландшафта нет места ни мне,
Ни тому, что зовем вдохновеньем, поскольку от вдоха
Моего, от танцующих пальцев ничто в тишине
Не зависит – здесь звуки являются сами, от Бога.

- Вот, ты сам и свидетель ненужности праздных трудов:
Ни от поз музыканта в горах ничего не зависит,
Ни от выдутых флейтой каких-либо «фа» или «до»,
Ни от самой красивой, законченной в музыке мысли.
Здесь есть все, и добавить хоть ноту к гармонии сей
Так же самонадеянно, как и, должно быть, опасно,
Ибо тайна великая – звука – положена в сейф
Бытия, и надежда открыть его, парень, напрасна.

- Да, все так, но подобно в великих горах валунам,
Что по склонам разбросаны в их самобытном порядке,
Оттого и представлены разными звуками нам,
Коли ветер течет между ними – и в этом загадка
Их различия, знак их присутствия в мире вещей,
Так и мне, чтобы знать, что я есть и не схожий с другими,
Важно просто в мундштук, сквозь его безымянную щель
Сделать выдох – победным, живого над мертвенным, гимном.

Эклога. Юноша и старик

- Судьба сродни салонным буриме:
Случайные рифмованные пары,
Возможна тема (главный элемент
Залога в том, что жизнь пройдет не даром).
Послушай: при удаче, все сложить
Тебе дано, счастливчику, быть может,
Но как сейчас свою ты видишь жизнь?
Чем, расскажи, она тебя тревожит?

- Я молод – это раз, удачлив – два,
Тщеславен – три, и не богат – четыре:
Ближайший год закончится едва –
Мне равных никого не будет в мире.
Есть бой, есть упоение в бою:
Ты покоряешь только те вершины,
Что сам себе создал! – Я узнаю
В твоих словах не юношу – мужчину.

- Преодолеть препятствия, расти
В своем уменье убивать и строить,
Врагов не пощадить и не простить,
Когда страна прикажет быть героем.
Поступок, равный мужеству, дела
Для летописей, для легенд и мифов:
Мать для того мужчину родила,
Чтоб в жизни наслаждался каждым мигом.

- Ты думаешь? – Сомнений в этом нет:
Все, что любовью создал или местью,
И есть итог овеществленных лет,
Предмет твоих и гордости, и чести.
Прийдя никем, ты строишь свой успех
Хозяином удачи – в результате
Ты победил. В известных смыслах всех,
Ты состоятельнее прочих, кстати.

- По своему, ты прав. Пусть все дано,
Под видом рифм и темы, изначально,
Но почему-то к смерти суждено
На путь прошедший посмотреть с печалью.
Везет, коль в этой жизни ни на что
Ты не решился: море с легким бризом
Достигло совершенства, равно шторм –
Предвестник краха – к катастрофе близок.

Достигни совершенства. Пусть твой путь,
Что предстоит тебе идти до гроба,
Закончится быстрей когда-нибудь,
Пока его ты не испортил пробой
Пера и шпаги, подвигом, своим
Обыденным трудом и ратным делом.
Пока весь мир, что недооценим
Тобой, ты не пометил бренным телом.

Кровать, подушка, бледный цвет лица.
Взгляд юноши прошелся по морщинам
Сквозь диалог, что длится без конца
О том, что значит в мир прийти мужчиной.

***

Бесчувственность хирурга – это форма
Защиты, в дополненье к хлороформу,
От бесполезных у стола истерик:
Холодный ум с рукою чистой фору
Даст сердцу, невзирая на потери.

Бесчувственность стратега перед боем –
Есть больше преступление: любое
Решение ведет к смертям и ранам,
Но от эмоций, что нередко с болью,
Избавлены в погонах ветераны.

Бесчувственность правителя, как кара:
Без скальпеля едва надрезав карту,
Он отчленяет часть земли соседа, –
И подданных уничтожая карму,
Идет с холодным сердцем до победы.

Есть формы у бесчувствия, чья разность,
Скорее общность, остается разве
Что незаметной, если не заметить:
Как полководец – за свои приказы,

Правитель за хирурга не в ответе.

Инвектива

Не нужно строить города на месте кладбищ:
В инфраструктурах, в их фундаментах и трубах
Застынет ужас, что всегда течет из трупов,
Забъется веры и безверья вечный кладезь.

Не нужно строить города на месте казней,
В местах укрытий, никогда – на поле боя,
Ведь не исполнится желание любое;
Что предстоит, еще предстанет безобразней.

Не нужно строить города в период смуты
И в годы кризиса, разрухи, эпидемий:
Они фантомами возникнут из видений,
Летучей мышью, в снах являвшейся кому-то.

И этот некто, кто когда-нибудь проснется
Среди погостов, лобных мест, казарм, ристалищ,
Что есть везде и что грядущему достались, –
О городскую мостовую не споткнется.

Геннадий Кацов *– известный в 1980-е годы поэт и прозаик, участник московской литературной группы "Эпсилон-салон" и один из основателей московского легендарного клуба "Поэзия". В 1989 году эмигрировал из России в США. Живет в Нью-Йорке, занимается журналистикой, работает на телевидении RTN.*
После долгого перерыва вновь вернулся к поэзии. В апреле прошлого года вышла в свет его книга "Словосфера", в которую вошли 180 поэтических текстов-посвящений мировым шедеврам изобразительного искусства. Презентации этого необычного произведения прошли в Америке с большим успехом. Автором был подготовлен поэтический сборник "Меж потолком и полом", который попал в лонг-лист "Русской премии".

ИСААК ФРИДБЕРГ

ФАННИ

Окончание. Начало в номере 2 (30) 2014

12

Решетки лифта с грохотом захлопываются. Лифт дергается и начинает опускаться. Когда он останавливается и старик-лифтер отодвигает решетки, Тася, Тони и Дурасов оказываются в подвале.

Идут по мрачным коридорам. Входят в комнату, выложенную белым кафелем.

Посреди комнаты светится зеленоватый ледяной куб, сложенный из прозрачных кирпичей-блоков. Внутри куба оставлена ниша - там, внутри, в ледяном доме, покоится тело. Угадываются сквозь лед белизна лица и ярко-красный бархат платья.

Лед медленно оплывает, струятся по стенам ледяного дома капли воды. Тася прислоняется лбом к ледяной стене, слезы смешиваются с капелью.

- Мама…

Она долго молчит. Потом шепчет:

- Спасибо, господин Дурасов…

Дурасов вытирает слезы белоснежным платком, обнимает Тасю.

Тони стоит неподвижно у ледяного куба, на застывшем лице едва шевелятся сиреневые губы:

- *День приходит день уходит..*

Сена мрачная и злая

Утекает утекает

И уносит воду жизни

И приносит воду смерти

Омывает нашей смертью

Времена и берега…

Стихи ему нравятся. Он смущенно косит глаз на Тасю с Дурасовым, вынимает из кармана маленький аккуратненький блокнотик и такой же аккуратненький маленький карандашик. Неслышно шепчет:

- Простите…

Начинает записывать в блокнотик стихотворение, бормоча драгоценные слова - чтобы не позабыть:

- День приходит, день уходит…

- У меня все готово, - сквозь слезы, шепчет Дурасов. - Если позволите, завтра похороны…

- Да, конечно… - выдыхает Тася.

13

Отпевают госпожу Гриневу-старшую в церкви, церковь большая, торжественная, гулкая, народу много, народ солидный, степенный, серьезный - смокинги, бороды, усы.

Странная подробность: почти все участники похорон - мужчины… Подходят к Тасе, целуют ручку, выражают соболезнование, исчезают, растворяются в холеной, церемонно-печальной толпе.

Тони стоит чуть позади Таси, он впервые в жизни присутствует на православных похоронах, жалко Тасю, но любопытство пересиливает, вертит головой, жадно впитывает

впечатления - море свечей, запах ладана, трубный голос дьякона, неземную гармонию певчих…
У церкви ждет похоронная процессия - лучшая в Петербурге. Открытый белый лакированный катафалк, запряженный четверкой белых же лошадей. Лошади в серебряной сбруе, украшены плюмажами, рядом с ними стоят ездовые, все как один облачены в белые до пят плащи и белые шелковые цилиндры.
Наготове духовой оркестр, тоже весь в белом, при шелковых цилиндрах, и даже духовые инструменты - белого металла, специальные, похоронные.
Черный лакированный гроб сносят по ступеням церкви (носильщики гроба одеждой и статью как две капли воды схожи с ездовыми и оркестрантами, те же белые плащи, белые цилиндры).
Гроб водружают на катафалк, процессия трогается.
Оркестр начинает играть грустное, но шагов через пятьдесят нестройно умолкает.
Улица, по которой собиралась проследовать похоронная процессия, от тротуара до тротуара заполнена рабочей колонной. Там тоже имеется свой духовой оркестр, барабанно-маршеобразный и какой-то марсельезный, над колонной реют красные флаги и полощутся транспаранты, много красного, много опьяненного – в прямом и переносном смысле.

14

Похоронной процессии приходится остановиться. Демонстрация, идущая навстречу – ревет и грохочет, она огромна, бесконечна, демос валит, шеренга за шеренгой, колонна за колонной, белые лошади с плюмажами боязливо шарахаются от толпы, вздыбливаются, ездовые в шелковых цилиндрах рвут уздцы и совсем не похоронно орут на животину.
Демонстрация пытается сбавить ход, но это невозможно, задние ряды, не видя ничего перед собой, напирают. Из толпы демонстрантов вырывается рабочий с красной повязкой на рукаве, бежит к катафалку, кричит на бегу:
- Поворачивайте назад, поворачивайте!
- Как вам не стыдно! - кричит в ответ Дурасов. - Позвольте доложить, мы хороним человека! Женщину, между прочим! Расступитесь и дайте нам проехать!
- Сочувствую! - кричит рабочий. - Но ничего не могу сделать! За моей спиной двадцать тысяч человек! Я не могу их развернуть! Придется вам! Давайте скорей, не видите, что ли? Десять минут, и вас растопчут!
- Поворачивай! - кричит Дурасов форейтору.
Форейтор спешивается, хватает под уздцы лошадь, начинает разворачивать четверку с катафалком. Улица широкая, разворот возможен - не сразу, лошади нервничают, мечутся, их приходится тащить, толпа же напирает.
Когда катафалк становится поперек улицы, демонстранты упираются в него, пытаются остановиться - крики, кто-то падает под ноги, катафалк кренится, форейтор прыгает в седло, отчаянно хлещет лошадей, те срываются в галоп, Дурасов, Тася, Тони, оркестранты бегут следом…

15

Это происшествие резко меняет состав похоронной процессии. Если в церкви толпились, в основном, солидные господа мужеска полу (они же поначалу степенно шли за катафалком), то - когда катафалк заканчивает бегство от толпы и сворачивает в переулок -

позади Таси, Тони и Дурасова остаются только дамы, их немного, человек двадцать, все в шляпках, с черными вуалями, лиц не видать, но ростом стройны и весьма манерны…
Оркестранты, по большей части люди не молодые, бежать не смогли, многие смешались с толпой и растворились в ней, особенно музыканты с громоздкими инструментами - барабан, геликон и пр. …
Флейтисты и трубачи сумели выбраться, толпятся у катафалка.
Останавливаются, пытаются отдышаться. Тася , Дурасов и Тони - в одной группке, дамы в вуалетках - в другой.
За их спинами, по главной улице, ползет многоголовая гидра демонстрации, черная снизу, красная сверху, неторопливая и безудержная одновременно.
Правой рукой Тони придерживает Тасю, левой притягивает к себе Дурасова, и деликатно, шепотом, в ушко, чтоб не услышала Тася, спрашивает:
- Куда они идут? На Бастилию? Они идут штурмовать Бастилию, господин Дурасов?
- У нас нет Бастилии, мсье Сандраар, - отвечает Дурасов. - У нас политических преступников содержат в Петропавловской крепости. Но ее нельзя разрушить, потому что там похоронены все русские цари.
- Русские хоронят царей в тюрьме? - удивляется Тони.
- Это долго объяснять… - криво усмехается Дурасов. Природный патриотизм не позволяет ему вступить в дискуссию по поводу места захоронения царей.
Тони с завистью смотрит на революционную толпу и тихо шепчет:
- Боже, как бы я хотел сейчас быть русским!..
Тася подходит к гробу, осторожно проводит рукой по его черной лакированной поверхности - словно гладит. Поворачивается к Дурасову. Дурасов с удивлением видит, что Тася отнюдь не растеряна. Напротив, лицо ее полно решимости.
- Господин Дурасов! Нельзя ли быстро сменить антураж? - строго спрашивает Тася. – Когда по городу шляются толпы пьяных рабочих, не надо привлекать внимание этой роскошью. Будьте любезны раздобыть простую колымагу. В ней мы доедем до кладбища вернее и безопаснее.
- Извините, Таисия Николавна, - бормочет Дурасов. – Не подумал конечно, насчет беспорядков… Но все же…матушку-благодетельницу… в последний путь… как можно… позвольте доложить… На колымаге?…
- Господин Дурасов. Кажется я прямая наследница? Единственная?
- Так точно…
- Извольте исполнять! Оркестрантов, пожалуйста, отправьте по домам.
Дурасов кивает, горбится, становится меньше ростом, бросается к оркестрантам, потом мелким шагом семенит куда-то вдоль улицы.

16

Дурасов видит неподалеку довольно облезлую грузовую колымагу, именно такую, как нужно, и бросается к ней.
Два косоногих битюга затаскивают колымагу во двор невзрачного дома, скорее деревенского, чем городского, окруженного кривобокими сараями.
Дурасов сворачивает во двор вслед за колымагой, путь ему неожиданно преграждают два мужика, один рыжий, другой чернявый, оба огромного роста и совершенно разбойного вида: грязные поддевки, всклокоченные бороды, измятые картузы.

- Чего надо, барин? – слышит Дурасов над собой мрачный голос.
Дурасов задирает голову. Видит над собой темные недружелюбные глаза.
- Беда у меня, мужики. Матушку на кладбище везем, да катафалк сломался. Не подсобите? Транспорт нужен. Ваша колымага как раз подходит… по размеру.
- Че-то рожа мне его знакома, - хрипит рыжий. - Ты часом не из околотка, дядя?
- Упаси боже, - тушуется Дурасов. - Позвольте доложить, управляющий я, Дурасов моя фамилия, дом госпожи Гриневой в Стрельне, все знают… Она, собственно и померла, благодетельница.
- Вот те раз, - басит чернявый. - Где Стрельна, а где мы! Заврался ты, дядя!
- В Стрельне у нас дело, а живем на Литейном, рядышком. Отпели матушку в церкви Всех святых и везем на Калитниковское кладбище, вот вам крест…
Дурасов крестится.
Во дворе, пока шел разговор, народу прибавилось. Пять-шесть не менее разбойного вида мужичков спешно разгружают колымагу. Таскают из нее в пыльный сарай большие картонные коробки.
Краем глаза Дурасов видит коробки, узнает в них дорогое французское шампанское, понимает, что такому шампанскому не место в грязном сарае. Нехорошие мысли закрадываются в голову - шампанское явно краденое.
- Ладно, мужики, вижу, пришел не во время. Извините за беспокойство. Я, пожалуй, пойду, - кланяется Дурасов.
- Не торопись тушеваться-то. Ну что, Веня, поможем? - спрашивает чернявый.
- А то! - хрипит рыжий. - Кого позвать?
- Нешто мы сами с тобой не управимся? - весело отзывается чернявый.
- Не стоит утруждаться… - лепечет Дурасов.
- Стоит или не стоит - нам решать! - в голосе чернявого явно звучит угроза. - Магарыч какой будет?
- Пятнадцать рублей ассигнациями.
- Двадцать пять! - объявляет чернявый.
- Хорошо… Конечно… - тоскливо соглашается Дурасов.

17

Чернявый идет к колымаге, там что-то вполголоса, объясняет мужичкам, те внимательно прислушиваются, развернув головы к Дурасову. Похоже, чернявый тут главный.
После разговора с чернявым, мужички бегом выносят последние коробки шампанского из корпуса колымаги, вытаскивают оттуда же золоченый диван с бархатной обивкой, быстро затворяют колымажные двери, чернявый громоздится на козлы, понукает лошадей, колымага съезжает со двора. Дурасов, рыжий и чернявый торопятся следом.
Черный лакированный матушкин гроб легко , без посторонней помощи, рыжий и чернявый снимают с катафалка и загружают в колымагу.
- Вы дорогу знаете? - торопливо спрашивает Тася.
- Как не знать? - степенно отзывается чернявый.
- Мы за вами пойдем, пешим ходом, так что вы не гоните, - говорит Тася.
- Само собой, - грохочет чернявый.
Гроб - в колымаге. Двери закрыты. Чернявый - на козлах.
Тася идет к стайке дам в вуалетках. Подходит.
- Спасибо, что остались с нами… - грустно говорит. - Пойдемте…

Тут раздаются цокот копыт и стук колес. Тася оборачивается и на лице ее возникает недоумение. Колымага, никого не дожидаясь, трогается с места. Чернявый охаживает битюгов кнутом, те начинают двигаться довольно резво и колымага лихо катится прочь.
- Господин Дурасов, в чем дело? - тревожится Тася.
- Я… позвольте доложить… не знаю… - растерянно отвечает Дурасов, начиная догадываться о смысле происходящего.
Тони, все это время терпеливо ожидавший продолжения похорон, вопросительно смотрит на Тасю - эти русские похороны ему не совсем понятны…
- Остановите же его! - кричит Тася.
- Не надо никого останавливать, - усмехается рыжий и достает из сапога остро заточенный нож. - Само остановится, когда надо.
- Что значит, когда надо? - нервно кричит Дурасов.
- Похороны дорожают, - ухмыляется рыжий. - Хотите получить матушку обратно, гоните тыщу рублей. Ассигнациями. А то свезем матушку к чертовой матери.
- Это бандиты? - спрашивает Тони по-французски.
- Кажется да, - отвечает ему Тася.
- Им не повезло, - говорит Тони. - Они в первый раз встретились с настоящей итальянской шпаной.
В ту же секунду нога Тони ловко выбивает нож из руки рыжего.
Рыжий хрипит, готовый драться на кулаках. Но к драке ногами он совершенно не приучен. Удар ногой в голову нокаутирует рыжего.
- Быстрей! - кричит Тони.
Тони прыгает на катафалк, выталкивает на землю возницу в белом цилиндре. Хватает вожжи.
Тася подбегает к катафалку, садится рядом с Тони. Тони хлещет вожжами лошадей, катафалк мчится по улице вслед за колымагой…

18

Чернявый обнаруживает погоню, охаживает кнутом своих битюгов.
Мчатся по широким питерским улицам - впереди колымага, позади катафалк. Крутые повороты: один, другой; горбатые мостики: третий, четвертый…
С пулеметной скоростью грохочут колеса, хрипят кони, мелькают копыта…
Низкая колымага более устойчива, она легче проходит скоростные повороты.
Высокий же катафалк угрожающе кренится, становится на два колеса,
Тася кричит от ужаса, Тони профессионально свешивается на противоположную от крена сторону - одной рукой он держится за фонарь, другой правит лошадьми, катафалк кренится, Тони распластывается над брусчаткой, которая бешено мчится под его головой…
Ездовая четверка, конечно же, резвее битюгов-тяжеловозов, вскоре катафалк настигает колымагу, они мчатся рядом.
- Держите! - кричит Тони.
Он передает Тасе вожжи, а сам встает на козлах, приготавливаясь к прыжку.
- Тони, остановитесь, это опасно! - кричит Тася.
- Не опаснее, чем жить в России! - отвечает Тони и прыгает.
Тони прыгает на козлы колымаги, обрушивается на чернявого, завязывается драка.

Кареты мчатся одна рядом с другой, лошади испуганы, их несет, Тася из последних сил напрягает вожжи, удерживая лошадей…
Чернявый конечно больше и сильнее хрупкого Тони, но Тони ловок и сообразителен, он ухитряется набросить на шею чернявого конец своего длиннющего красного шарфа (с которым никогда не расстается) , короткое движение – и на шее чернявого красная петля, которую Тони затягивает, упершись ногами в живот чернявого, чернявый задыхается, хрипит, лицо его багровеет, он теряет силы, через минуту Тони сбрасывает на дорогу этот мешок с костями.
Чернявый катится кубарем по брусчатке мостовой, «ловит» столб уличного освещения, ударяется о него, затихает…
Тони удается подхватить вожжи, он пробует удержать лошадей, и тут замечает отчаянное и беспомощное лицо Таси.
Тася мчится на катафалке, лошади которого уже давно ей не подчиняются.

19

- Прыгай! - кричит Тони.
- Я не могу! - кричит Тася.
- Со мной твоя матушка! Я не могу ее оставить! Кони ее изуродуют! Ты должна прыгнуть ко мне!
- Я боюсь!
- Я люблю тебя! Иди ко мне!
Тони обвязывает вожжи вокруг талии, чтобы освободить руки, встает на козлах, поворачивается к Тасе всем телом, расставляет руки вширь…
- Прыгай, любимая! Ничего не бойся! Это же просто! С одной кровати на другую! Я жду!
Тася встает, отпускает вожжи, растерянно смотрит на свои длинные траурные юбки, быстро связывает подол в узел между ног, так что юбки превращаются в подобие брюк, закрывает глаза, крестится. Прыгает…
Катафалк выше колымаги, Тася падает сверху вниз в руки Тони, он обнимает ее, целует в губы с восхитительным бешенством. Кричит:
- Я тебя обожаю! Обожаю!
- Смотри на дорогу! - дрожит Тася.
Катафалк уносится вперед, без руля и ветрил человеческих, несут его прочь безумные кони, мчат по бесконечности петербургской першпективы…
Вцепившись в вожжи четырьмя руками, Тася и Тони вздыбливают своих битюгов, рвут им губы железной уздой, останавливают их тяжелый бег. Все заканчивается: стоит колымага, хрипят, роняя пену, лошади…
Тони деловито спускается с козлов, идет к дверям колымаги, снимает запор, открывает дверь.
Гроб съехал в угол, а в остальном - цел и невредим.
- Наша матушка в порядке, - говорит Тони. - Можем ехать дальше. Вы знаете - куда, мадмуазель?
- Знаю, - отвечает Тася.
- Командуйте!
- Почему вы никогда не рассказывали, что вы итальянская шпана?
- Это в далеком прошлом. В настоящее время я французский поэт. Тони Сандраар! Запомните это имя!

- Я его никогда не забуду… - шепчет Тася.
- Вы понимаете, что сказали это у гроба матушки? Над гробом матери не врут!
- Надеюсь, она меня слышит… Она умела любить… Я тоже, хочется верить… Знаете Тони… однажды она мне сказала… что мой кровный отец… государь император…
- Вы хотите сказать, что эта революционная шваль на улицах обижает наших любимых родственников?!
- Я ей не поверила…
- Напрасно. Красивая история. В красивые истории надо верить! Императору и императрице отрубят голову, детей отравят цианистым калием, вы останетесь единственной наследницей российского престола. Однако пока все живы, займемся делом. Кажется, мы начинаем утомлять вашу матушку. Простите, мама! Уже недолго осталось. Поехали?!

20

Дурасов встречает их дома. Роскошный дом госпожи Гриневой, талантливо оформленный в стиле арт нуво, окружает испуганного старика с трясущимися руками.
- Вы живы?... Живы… Слава богу… - шепчет Дурасов. - А … где матушка?
- Где ей быть? На кладбище, царство ей небесное, - отвечает Тася.
- Простите меня, Таисия Николаевна, простите меня… Это роковое стечение обстоятельств, позвольте доложить… Я побежал в полицию… Вы не представляете себе, там никого нет… Толпа разгромила околотки, городовые разбежались по домам… В городе совершенно никакой власти, совершенно никакой… бандитизм и грабеж, позвольте доложить…
- Распорядитесь приготовить мне горячую ванну, - устало говорит Тася.
- Вода нагрета, сейчас прикажу наливать…
- Господин Дурасов, - спрашивает Тони. - Возможно ли в Санкт-Петербурге раздобыть револьвер или наган? На крайний случай - какой-нибудь браунинг? Я уже понял, что в России выходить на улицу без оружия - чрезвычайно легкомысленно…
- В течение часа наведу справки! - с виноватым подобострастием отвечает Мордасов. – Разрешите сделать вам комплимент, мсье Сандраар, вы и без оружия просто великолепны!
Дурасов делает условное и осторожное движение ногой - намек на удар Тони по голове рыжего.
- Пока вы здесь, я совершенно спокоен за наш дом!

21

Посреди ванной комнаты, на мозаичном венецианском полу, стоит большая медная ванная на львиных лапах. Тони и Тася нежатся в ней, осторожно и нежно лаская друг друга.
- Мне стыдно… - шепчет Тони.
- Почему?
- У тебя горе, а я счастлив… Здесь, в России, ты принадлежишь мне, одному, тебя ни с кем не надо делить…
- Жалкий собственник, - целует его Тася.
- Да…
- Ты никогда не станешь настоящим поэтом, в тебе слишком много мещанства!
- *Я не поэт*

Во мне полно мещанства
Оно поет
В пространстве графоманства
Я мещанин
И гражданин мещанства
Но все простит твоя ко мне любовь…
- Не простит, - улыбается Тася. - А Сальваторе - гений. Я же не виновата, что люблю гениев?!
- Виновата. Любовь - это всегда преступление! Любовники - преступники! Ты не заметила, что они всегда прячутся?
Стучат в дверь.
- Ну что там еще? - недовольно отзывается Тася.
Дверь приоткрывается. В образовавшуюся щель проникает рука Дурасова. Рука держит за конец шелковый красный шнурок. На шнурке висят, один под другим, кольт, наган и браунинг.
- Ваше пожелание исполнено, позвольте доложить, - раздается за дверью голос Дурасова.
– Будете выбирать, или оставить все три?
- А патроны? - грозно интересуется Тони.
- Не извольте беспокоиться!

22

Нотариус приезжает на извозчике. Усато-бородатый гражданин средних лет, довольно плотный, с тросточкой в левой руке, котелком на голове и большим кожаным портфелем в руке правой.
Спрыгивает с пролетки, подходит к резным дубовым дверям, вращает медную ручку звонка. Дверь открывается.
Встречает нотариуса господин Дурасов. Горничная принимает трость, котелок и легкое пальто, господин Дурасов проводит нотариуса в кабинет, предлагает располагаться за письменным столом.
Нотариус раскрывает кожаный портфель, достает из него большую дерматиновую папку, из папки вынимает картонный конверт, опечатанный сургучной печатью. Кладет конверт на стол и застывает в ожидании.
В кабинет входят Тася и Тони, кланяются нотариусу, он им отвечает наклоном головы, Тася и Тони садятся в низкие полукруглые кресла – деревянные шедевры русского модерна (как и вся мебель в доме госпожи Гриневой).
Нотариус торжественно поднимает конверт, срывает сургучную печать, из конверта показывается голубой, сложенный втрое, лист гербовой бумаги, нотариус разворачивает его, спрашивает неожиданно тонким голосом:
- Могу приступить?
- Прошу вас, - вежливо отзывается господин Дурасов.
Нотариус читает - неожиданно громко, торжественно и распевно .
- «Завещание. Я, петроградская мещанка Гринева Варвара, дочь Василия, бывшая актриса Императорских театров, находясь в здравом уме и светлой памяти, завещаю после моей смерти передать принадлежащие мне государственные ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, а именно: дом на Литейном, с флигелями и мансардами, каретным сараем, каретами, лошадьми, земельным участком согласно реестра земельных

собственников города Петрограда, а также дворец «Белый лебедь» в поселке Стрельна, со дворовыми постройками, оранжереями и теплицами, каретными сараями, каретами, лошадьми и земельным участком согласно реестра земельных собственников Петроградской губернии - в собственность родной дочери моей Гриневой Таисии Николаевне, проживающей нынче в городе Париже с целью обучения профессии художника. Наставляю дочь мою, Гриневу Таисию Николаевну, что из принадлежащих мне государственных ценных бумаг следует выделить всем работникам моим по сто рублей в благодарность и на помин моей души, а главному управляющему делами моими господину Дурасову Владимиру Николаевичу - две тысячи рублей, в знак глубочайшего моего к нему расположения. Составлено второго февраля одна тысяча девятьсот семнадцатого года, подписано собственною моею рукой - Варвара Гринева. Подпись госпожи Гриневой заверяю - государственный Их Императорского Величества Министерства юстиции нотариус первого класса Ребров, в чем прикладываю личную печать и подпись». Все… Распишитесь в получении…

В портфеле нотариуса имеется для таких случаев большая книга-тетрадь в твердой полосатой обложке. Чернильный прибор стоит на столе. Тася расписывается в книге-тетради. Нотариус промакивает подпись, небрежно машет тетрадью-книгой из стороны в сторону – чтоб быстрей высохло, быстренько собирает свои причиндалы назад в портфель.

Господин Дурасов лезет было в карман за бумажником, нотариус останавливает его движением руки:

- Ну, что вы! Благодарствую, все давно оплачено…

- Тогда рюмочку коньяку?

- Спасибо, не откажусь.

Господин Дурасов подходит к стене, внутри которой, за витой решеткой, прячется лифт. Снимает медную крышку с медной же трубы переговорного устройства, негромко произносит в трубу:

- Константин, четыре рюмки коньяку в кабинет.

Наклоняет ухо к трубе, слышит ответ:

- Вас понял. Приступаю к исполнению.

С легким скрежетом начинает двигаться лифт в стене. Дурасов открывает дверцу, все видят, как в нишу въезжает поднос, на котором рюмки, графинчик, лимоны в разрезе, орешки и пр.

- Двадцатый век! - довольный произведенным эффектом, улыбается Дурасов.

Нотариус выпивает рюмку, все остальные условно пригубливают.

- Всегда к вашим услугам, дамы и господа, всегда к вашим услугам, - откланивается нотариус.

23

Когда за нотариусом закрывается дверь, Тася берет в руки завещание, заглядывает в него, поворачивается к Дурасову и недоуменно спрашивает:

- Что такое «Белый лебедь»? Дворец в Стрельне? Почему я о нем ничего не знаю?

Дурасов смотрит на нее с видимым напряжением, потом начинает объяснять.

- Это… это… как бы вам сказать, Таисия Николаевна…

- Как есть, так и говорите.

- Это деловое здание, позвольте доложить… Там не живут, там зарабатывают деньги… Вы же понимаете… ваше содержание в Париже требует известных средств… и не малых.. Вашим милосердием кормится немало гениев, настоящих и будущих… Я не в упрек вам, ваша матушка и сама была щедра к людям искусства… особого рода…
- На что вы намекаете?
- Я не намекаю… Матушку, как и вас, Таисия Николаевна, очень привлекало рэволюционное искусство, всякие там «Бродячие собаки», «Бубновые валеты» и прочие футуристы, позвольте доложить… Их тут не просыхало… Деньги же, как известно, на деревьях растут в очень редких случаях… Обычным путем их надо зарабатывать. Матушка и зарабатывала… а я помогал, в меру сил, так сказать… Я хочу, чтобы вы все поняли правильно, Таисия Николаевна…
- Да что такое, - нетерпеливо возвышает голос Тася. – Что вы ходите вокруг да около? Тони, который все это время любезно разглядывал прелестные подробности интерьера – поскольку Тася и Дурасов объяснялись на русском языке - повышение градуса разговора обнаруживает на слух, спрашивает Тасю по-французски:
- У нас что-то случилось, дорогая?
- Нет-нет, - торопится успокоить его Дурасов. - Мелкие семейные подробности.
- О! - отвечает Тони. - Я уже слышал, что мадемуазель Тася – незаконная дочь императора. У нас во Франции такая новость произвела бы фурор! Кстати, я ни черта не понял из завещания: там что-то об этом сказано? Вы это обсуждаете?
- Не совсем… - натянуто улыбается Дурасов. - Мелкие финансовые подробности, вряд ли вам это интересно…
- Деньги-деньги! Знали бы вы, мсье Дурасов, как я их ненавижу!
- Да кто ж их любит из приличных людей, - усмехается Дурасов. - У приличных людей они должны сами собой являться в карманах. Так оно и есть, так оно и есть…
- Извините, Тони, - вмешивается в их светскую беседу Тася. - Я просто вступаю во владение имуществом и задаю кое-какие вопросы. Мсье Дурасову проще на них отвечать по-русски.
Тася говорит очень вежливо и очень твердо. Тони никогда ее такой не видел. Ему интересно.
- Французы, когда воруют - улыбаются. Чем больше воруют, тем больше улыбаются. А русские, когда воруют - кричат. Совершенно другая реакция! Надеюсь, пойму - отчего! - насмешливо заявляет Тони.

24

- Таисия Николаевна! - нервно говорит Дурасов, воспользовавшись французским языком. – Объясните молодому человеку, что я ничего не украл!
- Тони, мсье Дурасов честный и преданный нашей семье человек! - поддерживает Дурасова Тася. И тут же переходит на русский. - Продолжайте, господин Дурасов. Чего такого я должна понять правильно? Дворец в Стрельне зарабатывает деньги. Это я поняла. Чего я не поняла? Вы его сдаете в аренду германской разведке?
- Упаси боже, - пугается Дурасов. - Что вы такое говорите, Таисия Николавна - во время-то войны?!
- Ну, слава богу. А то вы уже страху на меня нагнали. Итак, в двух словах: что у нас в Стрельне…
- В Стрельне… Варвара Васильевна содержит… эротический театр.

- Что?
- Эротический театр.
- В каком смысле?..
- Эротический театр для очень узкого круга очень богатых и очень известных людей… Позвольте доложить, элита нашей Северной Пальмиры… Нечто вроде клуба… за очень большие деньги…Раз в неделю мы играем спектакль… Весьма изысканный… Из мифологии греческой, римской, египетской, индуистской…древнеславянской тож… Бывают и просто фантазии на космогонические темы… Приезжают гости… Выбирают себе роль… и участвуют в представлении… Матушка режиссировала… осуществляла общее художественное руководство, как бывшая актриса императорских театров…Позвольте доложить, мы пользовались успехом!
- Мило. Так у нас что в Стрельне? Публичный дом?
- Таисия Николаевна, как можно… Разве - в каком-то отдаленном смысле…
- Девушки на похоронах… в черных вуалетках… Они что… из Стрельны?
- Артистки, конечно… - с достоинством отвечает Дурасов.
- Я заметила. Отборные барышни.
- Можете не сомневаться…
Тася встает, подходит к серебряному подносу с коньяком. Залпом опрокидывает в рот рюмку.
Тони в очередной раз демонстрирует любопытство, смешанное с удивлением.
Тася опрокидывает в рот вторую рюмку. За ней третью.
Тони молча наблюдает, затем осторожно спрашивает.
- У нас праздник?
- Нет.
- У нас горе?
- …Нет.
- Я слышал, что в России после похорон, принято сильно напиваться. Мы начинаем?
- Нет. Русские иногда пьют, когда не хватает сил жить.
- Я понимаю. Мы, итальянцы, чтобы иметь силы, начинаем пить прямо с рождения. Потому мы такие веселые.
- Для того, чтобы я могла учиться в Париже, моя матушка содержала здесь публичный дом. Вам понятно, Тони?
Тони не отвечает, подходит к подносу с коньяком:
- Вы позволите?
- Конечно.
Господин Дурасов наблюдает за происходящим с застывшей улыбкой на лице.
Тони берет рюмку, медленно, смакуя, выпивает.
- Вы хотите сказать, что в этом состоит ваше наследство? Вы теперь владеете публичным домом?
- Именно, - отвечает Тася. - Именно так, дорогой Тони. И как вам эта новость?
- Я второй день в России! Видит бог - здесь интересно жить!

25

Ночью дворец в Стрельне кажется черной неживой громадой, но это оттого, что изнутри на окнах глухо задернуты тяжелые шторы их двойной тафты.

Когда Тася, Тони и Дурасов входят в залу на первом этаже, там полно света, настоящего, самого модного, электрического.
Зала огромна и разделена пополам. В одной половине лениво и беспорядочно расставлены диваны, кушетки, кресла - другая же часть залы превращена в сцену: малахитовые колонны, золотая лепнина, стены расписаны древнеегипетскими фресками, по сцене движутся стройные девы в хитонах и черных густых париках, обнаженные по пояс. Отчего-то, все это происходит под звуки зажигательного танго, которое наяривает сидящий в сторонке камерный оркестр.
Режиссирует спектакль гибкий юноша с нарумяненным лицом и крашеными губами. Завидев Дурасова, гибкий юноша останавливает репетицию, балетно раскланивается, ангельским голосом докладывает:
- В память о Варваре Васильевне готовим к субботе сцены из египетской жизни «Смерть Клеопатры»… Извольте видеть, барышни играют с проникновенной печалью…
- Граф Валентино, наш актер и режиссер, - вполголоса представляет гибкого юношу господин Дурасов.
- Это кличка такая? Граф? - спрашивает Тася, наклонившись к уху господина Дурасова.
- Осторожнее, он действительно граф, - ответно шепчет Тасе на ухо Дурасов. - Работает у нас совершенно бесплатно, исключительно из любви к искусству. Валентино, конечно, псевдоним, а граф - настоящий…
- Граф, при чем здесь танго? - нервно интересуется Тася.
- В двадцатом веке живем, как же без модернизма? – обижается гибкий юноша и настоящий граф. - Клиенты нас не поймут! Опять же – танец смерти!
- Немедленно прекратить! - командует Тася.
- Таисия Николавна!.. - пытается остановить ее Дурасов.
- Господин Дурасов! Манеру поправлять меня прошу изъять из арсенала. Сегодня и навсегда. Театр закрыт! Актрисы уволены!
- Что? - тонким голосом переспрашивает гибкий юноша и настоящий граф.
- Что слышали!
Гибкий юноша и настоящий граф поворачивается к актрисам, которые, естественно, все слышат, поскольку находятся рядом.
- Барышни! - произносит гибкий юноша. - Драматик авеню, авек плезир!
Тони, до этого момента не понимавший ни слова, слышит знакомые слова, оживляется, надеясь, что суть разговора станет, наконец, доступна. Ан, нет! Все запутывается еще больше.
По команде гибкого юноши барышни-актрисы ложатся на пол, ползут к ногам Таси, тянут к ней руки и тихо заунывно стонут на разные голоса. Все это похоже на сцену из их богатого репертуара, поскольку барышни лежат аккуратной мизансценой, и ноют по-разному, однако в пределах гармонии.
- Что такое? - грозно произносит Тася.
- Позвольте доложить, - вздыхает господин Дурасов. - Дамы рыдают и взывают к вашему благородству. Они больше ничего не умеют, кроме того, чему их здесь научили. Закрывая театр, где они живут счастливо и, поверьте мне, достойно, вы их выбрасываете на панель!
- Да, на панель! - подтверждает гибкий юноша и настоящий граф. - Позволю себе заметить, это жестоко по отношению к людям, которые верой и правдой служили вашей матушке. Девки! - неожиданно бойко кричит он. - Лобызайте руку хозяюшке! Молите о снисхождении!

Барышни-артистки тут же поднимаются на колени, окружают Тасю, хватают ее руки, тянут к рукам губы – при том воют уже совсем не музыкально, по-русски, в голос.
- Да что ж это такое?! - кричит Тася. - Господин Дурасов, остановите же их!
Гибкий юноша и настоящий граф делает быстрое круговое движение рук ладонями к низу – подобно дирижеру, заканчивающему симфонию – шумы и всеобщие телодвижения тут же прекращаются. Барышни застывают на коленях, кто где стоял: головы-руки безвольно опушены, спины трагически сгорблены – и тишина…
- Встаньте! - приказывает Тася.
- Не встанем, матушка… - хором шепчут барышни-артистки.
- А я говорю, встаньте!
- Не встанем… Прости нас, грешных… Не гони на улицу…
- Вы свободные люди! В свободной стране! Неужели хотите оставаться рабами? Вот вас как зовут?
- Констанция… А по нашему - Клава…
- Ответьте мне, Клава!
- Что тут отвечать, барыня. Кому как жить, то бог решает. А мы - что…
Деревенский говорок Клавы странно не сочетается с древним египетским обличьем.
- Господин Дурасов, - нервно спрашивает Тася. – Мы можем поговорить наедине?
- Безусловно! Попрошу в кабинет.
Тася и Тони идут вслед за Дурасовым.
Гибкий юноша и настоящий граф снова рисует руками быструю окружность, на этот раз ладонями к верху - так дирижеры поднимают оркестры, слыша бурные аплодисменты и крики «Браво!».
Барышни-артистки тут же повинуются, ловко, по балетному, все разом встают с колен.

26

Кабинет обустроен по английской моде, много темного дерева и ветвистых тропических растений. Высокие, под потолок, шкафы, стеклянные дверцы, золотые корешки книг. Огромный письменный стол, наполовину покрытый безделушками.
Роскошь кабинета поражает Тасю.
- Это ваш кабинет? - спрашивает она Дурасова.
- Матушка, позвольте доложить, здесь трудилась, ее гнездо. Тут принимала гостей, тут и умерла в одночасье, царство ей небесное… Прямо в кресле, отлетела душа…
Тася подходит к креслу, гладит его спинку, обшитую черной холодной кожей. Переходит на французский, чтобы Тони не ощущал себя чужим и брошенным.
- Господин Дурасов… Я чувствую себя обязанной этим юным женщинам… Они честно трудились ради моего блага… Что я могу для них сделать?
- Ничего, - сухо отвечает Дурасов. - Позвольте доложить, наше положение вполне трагическое. У нас нет лишних капиталов на содержание барышень, дома, и даже самих себя. Мы должны трудится.
- Как? - испуганно спрашивает Тася.
- Так. Все деньги шли в Париж, накоплений нет-с. На счету в банке - определенная мелочь… Как известно, мы любили искусство, и никто не собирался умирать… Казалось - так будет продолжаться вечно. Да вот господь постановил другое… Конечно, вы - хозяйка, вам решать… Однако, позвольте доложить, дело вам досталось налаженное, процветающее, прибыльное… Можно, конечно, все и поломать…

- Дорогая! – говорит Тони. - Кажется, я знаю, что надо делать. Надо закупить швейные машинки, обучить барышень ремеслу и открыть здесь шляпную мастерскую. Думаю, новейшие парижские шляпки будут пользоваться в Петербурге успехом.
- На какие шиши? - с трудом скрывает раздражение Дурасов. - Машины для шитья господина Зингера стоят приличных денег. Для обучения парижскому шляпному ремеслу из вашего Парижа придется выписать мастера, в Питере учителей не найдешь, кто же захочет плодить себе конкурентов? Парижский мастер, позвольте доложить, тоже влетит в копеечку. Да и пока салон заработает, пока начнет доходы приносить - на что жить?
- Продадим матушкин дом на Литейном! - решительно объявляет Тася. - Зачем нам два дома? Мы с Тони переселимся сюда, здесь прорва места. Денег за дом на все, что предложил Тони, хватит?
- Хватит… - вздыхает Дурасов. Всем своим видом давая понять, насколько революция в публичном доме ему не симпатична.

27

И вот - о чудо! - гостевая зала первого этажа уставлена двумя рядами рабочих столов со швейными машинами, на столах – деревянные головы-«болваны» для примерки шляп. За столами сидят бывшие барышни-артистки, одетые в одинаковые скромные синие рабочие платья. На головах – красные косынки, скрывающие роскошь волос.
Диваны, позолота, бархат – куда-то подевались, зала пуста, строга, аскетична, малахитовые колонны закрыты круглыми стендами, на стендах рисованные плакаты новейших шляпных моделей, рекламные фото, образцы тканей и конфекционов.
Окна обнажены, в них льется серый свет петербургского дня…
Меж рядами рабочих столов гуляют мсье Пикар, мастер шляпных дел, выписанный из Парижа, и Тони, увлеченный общим художественным руководством. Они беседуют то с одной, то с другой будущей щляпницей – беседуют, в основном, жестами, так как барышни французскому не обучены. Тони и мастер шляпных дел мсье Пикар показывают, как обращаться с нитками, иголками, ножницами, тканями, что и как брать, куда вставлять…
Будущие шляпницы работой довольны, хотя движения их рук (при общении со швейной немецкой техникой) надо признать излишне эротичными.
Мсье Пикар, как может, борется с этим травмоопасным фактом, решительно упрощает пластику рук, строгими взглядами пытается изничтожить окружающее его кокетство, но от случайных прикосновений – вздрагивает...
Красный, до пят, шарф Тони – как всегда на нем, вместе с красными рабочими косынками смотрится естественно и гармонично…
Тасино рабочее место – на возвышении, за стеклянной выгородкой, там же можно увидеть и господина Дурасова у телефонного аппарата.
– Да, князь, - говорит в трубку Дурасов. – Театр закрыт, и, боюсь, навсегда… Нет, это не банкротство, спасибо за предложение оказать финансовую помощь. С финансами у нас все в порядке. У нас переменилась идеология. Мы шьем шляпы… К сожалению, не мужские… Да, заказам рады, милости просим, милости просим…
Едва Дурасов кладет трубку, как раздается новый звонок.
– Здравствуйте, Ваша светлость! Да, могу этот слух подтвердить. У нас теперь фабрика и все барышни трудятся в поте лица! До свидания.
Дурасов снова кладет трубку, поворачивается к Тасе:

– Народ безумствует!
– Господин Дурасов, – усмехается Тася. – Вы всерьез полагаете, что господа, платившие по пять тысяч рублей в год за клубную карту этого заведения, могут быть названы народом?

28

В синем рабочем платье! с красной косынкой на голове! гибкий юноша и настоящий граф Валентино шествует по зале. Двое рабочих несут за ним швейную машинку Зингера. И все это - под аплодисменты залы. Чувствуется, будущие шляпницы любят своего бывшего режиссера!
- Господин Дурасов, пройдите со мной, - поднимается из-за стола Тася.
- Что еще случилось, - пряча раздражение за преувеличенной вежливостью, спрашивает Дурасов.
- Случилось, - отвечает Тася и выходит из стеклянной клетки.
Они идут по длинному коридору, лишенному окон. Полы коридора устланы коврами, стены обиты тканью - шагов не слышно. В полумраке светятся настенные бра с игривыми абажурами венецианского стекла.
Светильники украшают левую сторону коридора. Правая сторона, через равные промежутки, снабжена дверями.
Тася открывает первую попавшуюся дверь, входит в комнату, также лишенную окна, щелкает выключателем, высвечивается над головой розовый, неяркий, интимный электрический абажур.
Свет абажура представляет глазу роскошный будуар, с двуспальной кроватью, балдахином, диванчиком в стиле помпадур, столиком для шампанского, столиком для умывальных принадлежностей (большой фарфоровый таз, такой же кувшин с водой). Многочисленные зеркала в золоченых рамах отражают поверхность кровати во всевозможных проекциях.
- Вы это видели? - Тася резким движением руки обводит комнату.
- Естественно, - сдержанно отзывается Дурасов.
- Вам это нравится?
- Очень.
- Вы издеваетесь надо мной?
- Ни в коей мере… Таисия Николавна…
- Тогда почему этот публичный дом все еще существует? Здесь развратно все, даже гвозди на обивке! И все это с утра до вечера напоминает бедным девочкам о их мучительном прошлом.
- Вы хотите заменить мебель?...
- И немедленно! Односпальные кровати, железные, с жесткими матрасами из института для благородных девиц. Письменный стол, венский стул - все! Суровость и простота! Суровость и простота.
- Сумасшедшие деньги, Таисия Николаевна…
- А что у них в шкафах?

29

Тася открывает зеркальную дверь встроенного шкафа. Шкаф набит платьями, бельем, обувью – все это известного качества и вида.

- Что это за красные панталоны с воланами? - скрывая бешенство, вопрошает Тася. - Так выглядит гардероб работницы, труженицы, скромной петербургской мастерицы?
- Извините, куда же все девать, ежели куплено?
- Немедленно убрать. Закупить скромное белье, скромное и приличное. Два-три комплекта на девушку, больше не надо.
- Позвольте доложить… Кровати, куда ни шло… Но если вы отберете у девушек любимые панталоны, случится бунт! Я даже не представляю, как это осуществить физически…
- Очень просто. Попросите Тони. Пока дамы на работе - пусть очистит гардеробы. А вы, тем временем, привезете белье. И разложите по полкам. А если кто-то взбунтуется – ведите прямиком ко мне. Исполняйте!
- Слушаюсь! - Дурасов топает к дверям, удрученно качая головой.

30

Спальная комната, в которой ночуют Тася и Тони располагается рядом с кабинетом. Внешне она практически ничем не отличается от будуара барышень-актрис, разве что размеры побольше, да окна присутствуют.
Тони не входит, а влетает в спальню с Тасей на руках, валится на кровать, рвет с Таси одежду.
- Соскучился! Соскучился!.. - шепчет на лету. - Сколько можно работать?! С утра до вечера, с утра до вечера! А я?
- Для вас ночь, дорогой Тони…
- Что за бред?! Ночью надо спать! А любовью заниматься днем! Так меня научили во Франции! И это правильно!
Они барахтаются на огромной кровати, летят на пол шелковые покрывала, кисейные подушки, опрокидываются тарелки с фруктами, заботливо приготовленные прислугой… Африканские апельсины, испанские яблоки, итальянский виноград вписываются в турецкий орнамент ковра…
- Кажется, обстановка этого дома вас сильно возбуждает, - шепчет Тася.
Они сливаются.
Потом, обернувшись шелковыми простынями на древнеримский манер, они пьют шампанское, сидя в креслах.
- Я плохая, жестокая женщина, - вздыхает Тася. - Заставила девочек спать на железных кроватях… А сама?.. Ты знаешь… когда я там была… мне даже захотелось примерить красные панталоны…
- Почему нет? Для мужа можно - все! Слово центуриона, я никому не скажу!
- А то я тебя не знаю. Тут же напишешь стихи про красные панталоны!
- Хорошая мысль!
- Не смей!
- А представляешь? Мы состаримся, умрем, пройдет много-много лет, и какой-нибудь юноша прочтет своей девушке стихи про красные панталоны, и будет любить ее – в память о нас с тобой… и наша жизнь будто продлится…
- Ты надеешься, тебя кто-нибудь прочтет через много-много лет? Какое самомнение!
- Ах так?! - кричит Тони. - Ты в меня не веришь? Не веришь! Проси пощады, несчастная!
Тони обнимает ее, срывает с кресла. Поднимает на руки, прижимает спиной к стене книжных полок, Тася обнимает его ногами, они опять сливаются, полки вибрируют под тяжестью тел, книги валятся на пол, Тася и Тони смеются в любовном угаре, и вдруг…

Именно вдруг…
Полка за спиной Таси подается вглубь, превращается в дверь, Тася и Тони падают на ковер, встают, испуганные… Заглядывают в черноту открывшегося проема…

31

- Что это? - шепчет Тася.
- Потайная дверь. У твоей матушки были тайны. Сейчас мы их узнаем!
На всякий случай, Тони берет в руку тяжелый бронзовый подсвечник. Они входят в потайную дверь. И оказываются в длинном глухом коридоре без света.
Свет падает из спальни в потайную дверь, он позволяет оглядеть совершенно голые стены, без окон, дверей и признаков жизни.
Правда, на одной стене, через равные промежутки, висят какие-то черные металлические кружочки, примерно пяти сантиметров в диаметре.
Стены в коридоре тоже черные, так что кружочки почти незаметны.
Тони подходит к одному из кружочков, трогает его. Кружочек сдвигается с места, открывает отверстие в стене - глазок. Обыкновенный глазок для подглядывания.
Тони заглядывает в глазок. Видит один из будуаров барышень-шляпниц. Но не только.
Тони отшатывается от глазка, пожимает плечами. Жестом предлагает заглянуть в него Тасе.
Тася приникает к глазку. Видит скромно (по новому) обставленный будуар: узкая железная кровать, письменный стол, венский стул - все, как она велела, никакой роскоши, сплошной аскетизм. Но посреди комнаты Клава обнимается с каким-то мужиком в поддевке, сапогах-бутылках и мятом картузе. На письменном же столе возлегают цветы, шоколадные конфеты и шампанское…
Тася осторожно закрывает глазок.
Тони шепчет:
- Отсюда матушка контролировала работу борделя… Я так думаю…
- Или пускала зрителей за большие деньги! - почему-то нервничает Тася. - Откуда у мадмуазель Клавы мужчина?
- Что за вопрос? Она свободная женщина. Почему бы ей не полюбить какого-нибудь работягу?
- Да? - Тася решительно идет к следующему глазку.
- Что ты делаешь? - шепчет Тони. - Подглядывать неприлично! Мы еще не в том возрасте…
Тася не слушает его. Проходит десяток глазков и окончательно мрачнеет.
- Ну? - спрашивает Тони.
- Посмотри сам, - отвечает Тася.

32

Тони проходится по глазкам. Всюду видит одну картину. В комнате у каждой будущей шляпницы имеется по своему работяге. Кое какие работяги еще одеты. Другие уже скинули сапоги, порты и поддевки, весело барахтаются в узких девичьих постелях. Сдавленные смехи летят из глазков.
Тони секунду размышляет, потом бросается вон из потайного коридора, в спальню. К окну. Отодвигает тяжелую штору, выглядывает на улицу.

На улице – ночь. Фонари не горят. Луна высвечивает булыжную мостовую. Слышится цокот копыт. К дому подъезжает дорогой экипаж с кучером в золотой ливрее, останавливается. Из экипажа выходит очередной «работяга», в сапогах и поддевке, тень от картуза скрывает холеное лицо. В руках шампанское, шоколад, цветы. К «работяге» подбегает гибкий юноша и по совместительству граф, прикладывает палец к губам, показывает дорогу куда-то за угол дома.
Тони машет Тасе рукой, Тася подбегает, тоже выглядывает в окно, после чего, второпях накинув на себя какую-то хламиду, мчится к дверям. Тони, отстает, потратив несколько секунд на натягивание брюк, победив брюки - бросается следом.

33

Дубовая парадная дверь приоткрывается, выпускает на ночную улицу сначала Тасю, потом Тони, они крадутся вдоль стены Тасиного дома, скрываясь в дома от яркого лунного света.
Экипаж, который Тася и Тони только что видели из окна своей спальной, отъезжает. А на его место подкатывает сверкающий лаком лимузин марки «Мерседес», 1916 года выпуска, по- летнему открытый. За рулем лимузина - водитель в котелке и белых перчатках. А вот на пассажирском сидении покоится очередной холеный тип, наряженный «работягой», в картузе, пиджачишке и гармошечных сапогах.
Гибкий юноша и настоящий граф встречает гостя, ведет его за угол дома. Водитель в белых перчатках церемонно несет следом цветы и упакованные в золотую бумагу презенты…
Тони и Тася крадутся следом.
За углом дома, к окну первого этажа приставлена лесенка. Господин, наряженный «работягой», неловко карабкается по ней, исчезает в окне. Водитель в белых перчатках передает в окно цветы и подарки…
Гибкий юноша и настоящий граф им помогает.
Тася бурлит от возмущения и рвется из тени - к окну, к лестнице, с ясным намерением учинить скандал. Тони с трудом удерживает ее, прижимает к себе, закрывает ладонью любимые губки, из которых вот-вот сорвутся бешенные вопли. Тася вырывается - и тщетно - еще какое-то время ее удивленные глаза наблюдают за происходящим поверх крепкой мужской ладони господина Сандраара.

34

Вернувшись в спальню. Тони прикрывает потайную дверь в черный коридор, падает на кровать и разражается хохотом.
- Они решили, что наша с тобой шляпная фабрика - очередной эротический спектакль! - сквозь смех с трудом проговаривает Тони. - В духе времени. На узком матрасе, не снимая сапог. Любовная идиллия в духе Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
- Нас с тобой не приняли всерьез… Решили все это превратить в новый эротический спектакль… Какое свинство, - грустно говорит Тася. - Если господин Дурасов в этом участвует, я его уволю!
- Боюсь тебя огорчить, - вздыхает Тони. - Но без господина Дурасова все это вряд ли могло бы состояться.

35

Так кончается ночь. Следующий день начинает тяжелый разговор с господином Дурасовым.

- Это была блестящая акция, - говорит Дурасов.

Они беседуют в кабинете. Дурасов сидит за письменным столом, в матушкином кресле. Раскуривает сигару, уверенный и довольный собой.

- Мы на этом мероприятии заработали больше денег, чем за весь прошлый год. Клиент просто обезумел, когда вы объявили, что театр закрыт. Это был блистательный коммерческий ход, Таисия Николавна, отдаю вам должное. За воскрешение театра нам предложили сумасшедшие деньги! А когда узнали про сексуальную фабрику… вы себе не представляете, что творилось! Позвольте доложить, все эти римские сатурналии народу порядком поднадоели, народ взалкал свежести. Ваша идея оказалась предельно своевременной. Вы достойная дочь, своей матери, Таисия Николавна! Теперь можете купить дом в Париже. Если захотите, конечно… Откроете свою галерею…Станете музой новой французской живописи… А мы здесь… тихо продолжим служить вам, верой и правдой…

- До свидания, господин Дурасов.

- В каком смысле?

- Во всех!

Такого разворота событий Дурасов не ожидал. Он думает - долго. Потом отвечает - сдержанно:

- Вы пожалеете об этом, Таисия Николаевна…

- Пожалею.

- И все же?

- И все же, - твердо и недвусмысленно отвечает Тася.

Дурасов раскланивается. Уходит, не оглядываясь.

- Его еще можно вернуть, - Тони сидит в кресле, задрав ноги на стол и попивает черный кофе из тонкой чашечки китайского фарфора. - Все-таки он - гениальный организатор.

- Это правда, - отвечает Тася. - Но в его руках любое заведение немедленно превращается в публичный дом. Что с этим делать?

- Я бы его назначил председателем правительства, - усмешливо предлагает Тони.

36

Приходит утро, и в бывшей гостиной зале продолжается фабричный труд. Мелькают иголки Зингера, стрекочут швейные машинки, барышни слизывают с губ бусинки трудового пота.

В конце залы, посреди стеклянного зарешеченного эркера стоит длинный деревянный стол, с дешевыми венскими стульями. Стол очень чистый, но ничем не покрытый. По столу расставлены тарелки - человек на двадцать пять.

Девушка в таком же синем рабочем платье, как у всех, и красной косынке, привозит в зал тележку с котлом овощного супа. Подъезжает к деревянному столу, начинает огромным половником разливать суп по тарелкам.

Запах еды разносится по зале.

- Опять без мяса! - громко, чтоб слышали все, шепчет Клава.

- Мясо вредно! - отвечает подруга Настасья, склонившаяся за соседней швейной машиной.

- Возбуждает желания. А мы с желаниями боремся.

Настасья, как и Клава, молода, игрива, явно насмешничает над словами.
- К чему нам желания? - продолжает Настасья. - Вот замуж выйдем, тогда - жри мясо от пуза! А до того - ни-ни! К тому же капуста с укропом улучшают пищеварение!
- Улучшают? - бормочет толстушка Людмила. – Куда уж лучше! Последняя радость!
Шляпницы прыскают. В это время громко звенит электрический звонок.
Шляпницы вскакивают и бегут к обеденному столу - там уже их поджидают овощной суп и свежие ломти белого хлеба.
Моют руки, поливая друг другу водой из эмалированного кувшина - пользованная вода изливается в железную лохань.
Рассаживаются. Еды не начинают. Ждут нетерпеливо.
Ждут они Тасю и Тони, которые последними моют руки - воспользовавшись тем же кувшином, той же лоханью, что и все.
Тася и Тони садятся во главе стола, с разных его сторон, друг напротив друга.
- Приятного аппетита! - говорит Тася.
- Бон аппетит! - говорит Тони.
Только после этого шляпницы приступают к еде.

37

Вдруг поднимается со своего места Клава, выпрямляет могучую спину, громко заявляет – на весь зал, перекрывая оркестр:
- Все, хватит, мне надоело! Спасибо вам за щи и кашу, Таисия Николаевна! Спасибо и вам, мосье Тони Французович! Ухожу я, ухожу к чертовым чертям собачьим! Кто, Таисия Николаевна, у проститутки родился, проституткой вырос, тому другой судьбы нет, и неча из нас каретных барышень строить, все равно не получится.
- Вы не рабы, - тихо отвечает Тася. - И власти у меня над вами никакой нет, кроме совести и желания вам помочь. Я не собиралась вас держать здесь более того, что нужно для приобретения профессии. Кто считает, что уже готов к самостоятельной работе, может уйти.
- Девочки, пошли на самостоятельную работу? - насмешливо объявляет Клава. - Кто со мной?
На призыв Клавы отзывается один человек - барышня Людмила по кличке Людок. Людок покидает застолье, задорно оглядывает подруг, делает реверанс:
- Счастливо оставаться! Мы за вещами! Кто передумал нитками в иголки тыкать - подходи!
Вместе с Клавой они покидают залу.
- Между прочим! – кричит Клава, уходя. - С сегодняшнего дня земля - крестьянам, фабрики - рабочим! Так что мы еще вернемся! Кто не знает, вчера революционный крейсер «Аврора» выстрелил из пушки по царскому дворцу! И попал! Чуть главного министра не замочили в сортире!
Барышни-шляпницы сидят за столом, пряча глаза. Но никто не встает, не уходит вслед за Клавой и Людмилой.
- Спасибо девочки, спасибо… что остались, - произносит Тася. - Я слышала, что власть переменилась… Но при любой власти… женщины останутся женщинами, будут носить платья, пальто, шляпки… Так что… кто хочет работать - без работы не останется! Нет повода для грусти, девочки! Мы молоды, красивы и жизнь у нас впереди! Я лично решила

выйти замуж, да-да! Мы с Тони решили пожениться! Приятная новость? Венчаемся, как только достанем подвенечное платье! Гуляем с икрой и шампанским! Все приглашены!
Барышни-шляпницы кричат «ура» и аплодируют.
Тони, не понимая русских разговоров, активно поглощает суп, манкируя аплодисментами.
- Тони! Я им сказала, что мы женимся! Это они нас поздравляют! - кричит Тася по-французки, кричит, чтобы победить шум.
Тони бросает ложку на стол, бежит к Тасе, подхватывает ее на руки, кружит по зале. Оркестр на секунду тушуется, переходит на классический вальс господина Штрауса «Сказки венского леса», под их чарующие звуки Тони и Тася летят между рабочих столов. Красный шарф Тони развивается и парит за спиной, два летящих конца его похожи на крылья ангела.

38

Магазин верхнего платья «Гротовский, Рабинович и партнеры. Все из Парижа» сияет хрустальными витринами.
- Входите-входите, - спешит порадовать покупателей господин Гротовский, владение шикарным магазином не мешает ему слегка приторговывать самому.
Господину Рабиновичу владение шикарным магазином не мешает стоять за кассой.
- Я уже слышал, что у вас свадьба, - продолжает господин Гротовский. Вы правильно сделали, что пришли к нам. У нас магазин для тех, кто имеет деньги, и имеет вкус.
- Времена, конечно, трудные, - подхватывает разговор господин Рабинович. - С одной стороны - война, с другой стороны - революция, но люди, слава богу, женятся, потому что, конечно, война и революция - хорошее развлечение, но жить с этого нельзя, человеку нужна жена, нужны дети, человек любит размножаться, вот в чем дело! Почему бы и нет?
- Проходите, садитесь! - вторит господин Гротовский, указывая на золоченые кресла в маленькой оранжерее. - Сначала кофе, потом подвенечные платья, все фасоны из Парижа, размер не имеет значения, за два часа подгоним по фигуре, желаете шелк, муслин, гипюр, тафту, говорите, не стесняйтесь, есть все, и не дорого, за такую красоту, сами скажете, просто даром!
Приятный разговор прерывает колокольчик, висящий над входной дверью. Мелодичным звоном он извещает о приходе долгожданных клиентов.
При виде трех матросов господа Гротовский и Рабинович несколько меняются в лице, но пытаются сохранить самообладание.
Матросы вразвалочку проходят в глубь магазина, прицениваются к роскоши интерьера, неторопливо переводят глаза на хозяев. Все трое - в черных клешах, черных пыльных бушлатах, мятые бескозырки - набекрень, за спиной - трехлинейные винтовки конструкции инженера Мосина с примкнутыми штыками. Маленькие красные бантики болтаются на верхних пуговицах бушлатов. Лица загорелые, кормленные, круглые. Один слегка косит.
- Что вам угодно, граждане матросы? - вежливо спрашивает господин Гротовский.
- Кожа! - отвечает тот, который косит.
- Вы совершенно правы, - говорит господин Гротовский. – Кожа входит в моду в нынешнем сезоне. А что, конкретно, граждане матросы?
- Все! - отвечает тот, который косит. - Тащи все. Разберемся.
- Будете брать оптом? - осторожно интересуется господин Рабинович.

- И оптом тоже! – объявляет тот, который косит. - Хватит разводить базар. Одна нога здесь, другая там!
- Извините, господа…Вы позволите себе подождать? - господин Гротовский поворачивается к Тасе и Тони.
- Господа позволят! - весело обрывает его тот, который косит.
Тони багровеет от возмущения, начинает подниматься с кресла. Он легко ввязывается в драку, Тася уже это знает, она испуганно удерживает его на месте, шепчет ему в ухо:
- Тони, умоляю… У нас еще два часа до церкви, мы успеем… Успеем…
- Дорогая. Им надо объяснить, - цедит сквозь зубы Тони. - Они неправильно начинают свою революцию.
- Умоляю, дорогой, не надо им ничего объяснять, у них оружие…
Тася держит его под руку, держит сильно, сцепив пальцы замком. Тони сжимает кулаки, остается в кресле, отводит глаза.
Тот, который косит, усмехается и как бы невзначай дергает плечом, на котором висит винтовка.
- Мы быстро… - шепчет господин Гротовский.
Гротовский кивает модисткам, которые все это время, замерев, стояли рядом, демонстрируя свадебные платья и головные уборы. Модистки убегают.

39

Несколько минут спустя кожаные куртки, фуражки и штаны в большом количестве разложены на диванах, стульях и столах. Матросы медленно расхаживают по магазину, оглядывая заморские кожаные изделия, потом тот, который косит, коротко командует:
- Годится!
Двое его коллег собирают кожаные изделия в охапку и движутся к дверям.
- А… деньги? - спрашивает господин Рабинович, спрашивает так, чтобы не возникало сомнений в его деликатности.
- Реквизиция. Для дела революции, - лениво отвечает тот, который косит, и идет к выходу вслед за товарищами.
- Для дела революции ничего не жалко, - говорит господин Рабинович. - Нельзя ли расписочку, что магазин «Гротовский, Рабинович и партнеры» уже помог революции?
- Некогда, - усмехается тот, который косит. - Извини, жидок…
- Я не жидок! - вдруг возвышает голос Рабинович. - Я крещен в православие! Имею звание купца второй гильдии! У меня русская жена и русские дети!
- Одобряю! - говорит матрос, уже стоя в дверях. - Я же не знал? Еще раз извини, жидок!

40

- Венчается раба божия Таисия рабу божьему Тони! - иерихонской трубой басит батюшка, и голос его плывет под сводами храма. - Венчается раб божий Тони рабе божьей Таисии!
Тони и Тася стоят под венцом. Тася - в подвенечном платье, густая фата обрамляет лицо. Тони выбрал для церемонии «модерновый» белый смокинг, пшеничные волосы кудрявятся, глаза блестят… От красного шарфа Тони отказаться не смог - взыграла душа юного авангардиста, красный шарф лежит на плечах смокинга, концы свисают до пят.
Потом они выходят из церкви, у тротуара их ждет коляска. Тони и Тася садятся, кучер трогает лошадей. Сверкают на солнце обручальные кольца.
Следующую остановку коляска делает у синагоги.

- Зайдем и сюда на пять минут, - говорит Тони. - Чтоб никому обидно не было. Это называется «хупа»! Практически все то же самое, только по-еврейски!

41

Коляска катится по улице. Навстречу маршируют вооруженные матросы. Обгоняют коляску грузовики с вооруженными мужчинами в кожаных куртках - совсем таких, как в магазине «Гротовский, Рабинович и партнеры»…
Похожий грузовичок, только не с рабочими в кожанках, а с матросами в черных бушлатах, подкатывает к парадному входу дворца госпожи Гриневой в Стрельне. Матросы вооружены винтовками, обмотаны пулеметными лентами, два пулемета «Максим» привезли они вместе с собой.
Черные бушлаты ссыпаются через борт на землю. Пулеметчики становятся у входа, по обе стороны дубовых дверей.
А к дверям подходят два матроса с деревянными кобурами маузеров на боку. Матросы эти несколько странные: одежда сидит на них комом, поскольку не вышла размером и чуть великовата; походка у матросов какая-то вихляющая бедром, не матросская – и даже не мужская. Что не удивительно, поскольку при ближайшем рассмотрении, матросы с маузерами на крутых боках оказываются Клавой и Людком - волосы коротко острижены, остатки волос убраны под бескозырки.
- Это здесь! - басит Клава и стучит маузером в дверь, стучит громко и нагло.
Поднимается ветер.
Он поднимается и здесь, у дворца госпожи Гриневой - матросы хватаются за бескозырки, торопливо щурят глаза, в которые ударяет уличный песок…

42

…он поднимается и там, где коляска с новобрачными движется навстречу судьбе.
Сильный порыв ветра срывает с головы Таси фату, несет ее по улице - под ноги матросов, колеса грузовиков, под копыта лошадей… Уносит вдаль…
- Ах… - испуганно говорит Тася, провожая глазами фату, тонкую белую вуаль, которую давит и рвет на булыжнике мостовой безжалостная поступь революционных матросов.
- Черт с ней! - смеется Тони. - Зато как красиво: романтика прошлого - под копытами будущего!
- Ты сказал - под копытами? Ноги этих матросов ты назвал копытами? Почему?
- Я так сказал? - удивляется Тони. - Значит, так и будет!
- Плохая примета, - шепчет Тася. - Очень плохая примета - на свадьбе потерять фату…
- Чепуха! - смеется Тони, снимает с себя длинный красный шарф, опускает его на голову Таси, несколькими ловкими движениями превращает шарф в подобие чалмы с паранджой.
- Ап! Ты не поверишь, но это гениально! Жаль, что у меня нет зеркала! Ты увидишь себя, как только мы приедем домой! Богиня революции! Матросы возьмут тебя с собой на баррикады, ты принесешь им победу!
Тони поднимается во весь рост в коляске, громко кричит по-французски:
- Виват матросы! Виват Революция!
- Ура! - отвечают матросы и бросают в воздух бескозырки…
Кто-то из матросов палит на радостях из винтовки, лошади пугаются выстрелов, пускаются в галоп, коляску дергает, Тони падает, матросы хохочут, лошади мчатся, не обращая внимания на кучера, кучер орет:

- Посторонись! Посторонись!
Рвет вожжи из последних сил - куда там! Лошади попались молодые, сильные, норовистые, чешут по улице, кося безумным глазом, их несет…
Тони лежит в коляске, крепко обнимает Тасю, ветер бьет им в лицо, лохматит и бросает в глаза длинные мятущиеся волосы, рвутся на волю бешенные красные крылья шарфа, Тони прижимает губы к маленькому розовому уху Таси, шепчет :
- Я был евреем, был итальянцем… был французом… теперь я русский… и это лучше всего…

43

Пока одни матросы криками, воплями и стрельбой в воздух поздравляют новобрачных, …другие, ведомые Клавой и Людком, врываются в залу дворца госпожи Гриневой, гремят коваными матросскими башмаками по рисунку наборного палисандрового паркета, видят накрытый свадебный стол, празднично убранных барышень-шляпниц.
Граф Валентино, гибкий юноша и настоящий граф, обрядил себя в змеиное трико с малахитово-серебряной чешуей, на голове у него сказочный шлем – граф похож на балетного сказочного принца - видимо, когда-то он и представлял нечто подобное в буйном фантастическом представлении эротического театра госпожи Гриневой. Но сегодня граф выбрал именно этот костюм всего лишь за его неземную красоту – хотел порадовать Тасю и Тони каким-нибудь романтическим танцем, танцевать граф любил и умел это делать…
Так вот, граф Валентино в змеином трико, единственный мужчина в доме, бросается навстречу матросам, спрашивает возмущенно:
- В чем дело, господа? Вы приглашены на свадьбу? Кто вас пригласил? Когда?
Потом он видит Клаву, Людмилу, теряет дар речи, потому что в ответ на его слова Клава отвечает коротко и грубо:
- Заткнитесь, граф. Дом госпожи Гриневой реквизирован для нужд революционного балтийского флота!
- Что значит «реквизирован»? Кто это сказал? - вскидывается граф Валентино.
- Я сказал! - к графу Валентино подходит матрос Дыбенко, двухметровый богатырь с приятный детским лицом. - Решением реввоенсовета республики все публичные дома закрыты и передаются во владение революционного народа.
- Здесь не публичный дом! - кричит граф Валентино. - Здесь фабрика номер один для пошива головных уборов пролетариата. Извольте выйти вон!
- Не ори, - спокойно говорит матрос Дыбенко и неторопливо снимает с плеча винтовку, удлиненную тонким трехгранным штыком. - У нас есть верные сведения, что здесь публичный дом, и не простой, а особо развратный - для министров, депутатов и членов царской фамилии…
На этих словах он коротким умелым движением штыка протыкает худенького и гибкого графа Валентино насквозь, как нанизывают на булавку экзотическое насекомое - для коллекции.
Граф Валентино обвисает на штыке, теряет подвижность рук и ног, однако глаза его еще живы, в глазах удивление и страдание, и тоска, незнакомая окружающим смертная тоска, граф Валентино смотрит в добродушное лицо матроса Дыбенко, матрос понимает его взгляд по-своему и отвечает на неслышимый вопрос: «За что?»

- Революция особенно ненавидит буржуев, пидерасов и наркоманов. А ты един в трех лицах!
Матрос Дыбенко сбрасывает гибкого юношу и настоящего графа со штыка, умирающее тело графа падает на паркет, сворачивается в кольцо, бьется в конвульсиях, из отверстия в малахитово-серебряной чешуе хлещет кровь, барышни-шляпницы визжат от ужаса…
- Заткнитесь, сучары! - орет Клава и стреляет в потолок из маузера. - Кто хочет любить настоящих мужиков и революционных матросов - выходи направо. Кто не хочет - становись налево! Где хозяйка? Где эта курвина дочь из Парижа?

Нехорошим словом помянутая дочь из Парижа именно в эту минуту подкатывает на коляске к стенам принадлежащего ей дворца. Видит пулеметчиков по обе стороны от входа.
Один из пулеметчиков протягивает руку к медной дверной рукоятке, изображающей спящего льва, и открывает дверь.
Тася и Тони входят.
Они входят и натыкаются на тело графа Валентино, лежащее в луже крови. Поднимают глаза.
Окруженные разноцветными бумажными гирляндами, стоят матросы. По обе стороны от них - безумные глаза барышень-шляпниц.
- Хозяева пришли, - усмешливо говорит Клава.
Тася мгновенно понимает все. Тони, напротив, не понимает ничего.
- Тебе было плохо у нас? – спрашивает Тася, глядя Клаве в глаза.
- Мне было хорошо, - отвечает Клава. - А ты, сучара, пробовала принимать в постели гнилого старика с вонючими зубами для романтической древнегреческой любви? Попробовала бы! Тогда и тебе стало бы хорошо!
- Гражданочка, - мирно говорит матрос Дыбенко. - Ваш дом реквизируется для нужд восставшего народа. Вместе с мебелью, посудой, бельем, одеждой и прочим содержимым. Здесь теперь будет реввоенсовет Балтийского флота. Все ваше имущество поступает на нужды флота. Вам предписывается без промедления покинуть дом. Можете взять с собой личные вещи.
Тони не понимает ни слова. Но слышит интонации. И чувствует суть.
- В чем дело? - спрашивает он вполголоса у Таси.
- Им не нужна богиня революции, - негромко отвечает Тася. - Им нужен ее дом. Они выгоняют нас из дома…
- Куда? - спрашивает Тони.
- Хороший вопрос, - говорит Тася.
- Спроси у них, кто главный, я хочу с ним поговорить.
- Мой муж спрашивает, кто у вас главный?
Тася обращается к матросу Дыбенко, и он незамедлительно отвечает:
- Главный у нас - товарищ Ленин! Владимир Ильич!
- Мой муж хочет с ним поговорить.
- Это невозможно, мадам. Товарищ Ленин на днях отбыл в Москву. И теперь пребывает в Кремле. Куда нынче переместился центр мировой революции. Разве что вы прокатитесь в Москву, и там попробуете обратиться к товарищу Ленину. Правда, сомневаюсь я, что он с вами будет объясняться, к буржуям он оченно беспощадный!

- Он говорит, что их главный уехал в Москву, - вполголоса переводит Тася для Тони.
- Я понял, - отвечает Тони. - Пригласи их за свадебный стол. Скажи им, что они наши гости.
- Что? - недоумевает Тася.
- Пригласи их к столу, - сквозь зубы повторяет Тони. - Я хочу с ними выпить.

45

-Господин матрос… - говорит Тася, но матрос Дыбенко ее тут же перебивает.
- Господ больше нет, все граждане!
- Гражданин матрос… Мой муж говорит, что сегодня у нас - свадьба, свадебный стол накрыт, вы наши гости… Он вас приглашает к столу…
- Вы не поняли, мадам, - довольно грубо отвечает матрос Дыбенко. - С настоящей минуты, это *вы* - наши гости. А свадебный стол в этом доме есть печальное недоразумение!
- Что-то ты разболтался с ними, командир, - вмешивается в разговор матрос Кольцатый. - Видно, баба понравилась? Ты скажи, мы враз организуем!
Матросы в голос ржут. Шутка прошла.
Тони слышит этот смех, видит его в лицах - чужих и наглых. Не понимая ни слова - враз понимает все: подлую меру происходящего. Вскипает кровь итальянского хулигана. Он снимает с себя белоснежный свадебный пиджак, небрежно бросает его на грязный после матросских башмаков паркет, приветливо улыбается матросу Кольцатому и тут же бьет его ногой в лицо.
Кольцатый падает, роняя оружие, Тони подхватывает винтовку, отпрыгивает к стене, передергивает затвор.
- А ну пошли вон! - кричит по-французски. - Пошли вон из чужого дома, куда вас не звали!
Матросы остаются в неподвижности. И только командир Дыбенко цедит сквозь зубы так, чтобы слышала Тася:
- Переведи…
- Он просит вас покинуть дом, который является частной собственностью.
- Он не понял. Частная собственность отменяется. Объясни ему, - внимательно следя за дульным срезом винтовки Тони, вкрадчиво говорит матрос Дыбенко.
А дульный срез винтовки Тони как раз и смотрит матросу Дыбенко прямо в лоб, отчего матрос - вкрадчивый, ласковый, тихий…
- Считаю до трех! - кричит Тони. - Один!...
- Он считает до трех, - переводит Тася.
- Хорошо, хорошо…- неожиданно становится миролюбивым матрос Дыбенко. На этом флигеле свет клином не сошелся. Пошли нафик, братва. Стано-вись!
По его команде, матросы вытраиваются в шеренгу.
- Р-равняйсь! Смирно! – командует Дыбенко. – Подмигивает матросу, стоящему первым в шеренге. – Напра-во! На выход шагом марш!

46

Матросы шумно топают по направлению к резным дубовым дверям.
Тони облегченно вздыхает, опускает винтовку.
Тася мечется взглядом от Тони к уходящим матросам и обратно, не веря тому, что все закончилось.

Барышни-шляпницы подают голос - все время, до того, стояли в мертвом ступоре, скованные ужасом происходящего. Сдавленно воют - негромко, чуть слышно - все как одна бросаются к телу графа Валентино, остывающему на окровавленном паркете.
Тася не верит, что все закончилось и, к сожалению, оказывается права.
Матрос, который стоял в шеренге первым и которому сигнально подмигнул командир Дыбенко, так вот этот матрос, естественно, первым выходит на улицу, тут же поворачивает к ближайшему окну, выбивает стекло и без промаха стреляет - все делает быстро, умело, профессионально.
Пуля настигает Тони в тот самый момент, когда победа над братвой кажется ему очевидной и окончательной. Тони удивленно поворачивает голову к разбитому окну - видит через клетки решетки спокойное, даже как-то деловитое лицо матроса, который первым стоял в шеренге, и понимает, что оказался на войне, которую не понял, и потому только что смертельно проиграл.
Пуля попадает Тони точно в глаз, матрос видно попался из настоящих охотников, Тони падает, Тася с криком бросается к нему…
- Отставить команду «На выход – марш!», - орет матрос Дыбенко, половина команды еще не успела покинуть залу и топчется у дверей. - Занять оборону! Бабье - под арест!

47

… В палисаднике у дворца госпожи Гриневой вырыта глубокая яма. Два матроса заканчивают рытье, вылезают из могилы, втыкают в песок лопаты, идут в дом. Приносят – за руки, за ноги - графа Валентино, бросают в яму. Таким же образом притаскивают Тони, швыряют его поверх графа, засыпают яму, сравнивают с землей, на зеленом газоне остается желтая глиняная клякса…

48

Матрос Дыбенко по-хозяйски занял кожаное кресло у письменного стола в бывшем кабинете госпожи Гриневой.
Тася стоит перед ним в остатках свадебного платья, тискает в руках сорванный с головы красный шарф. Глаза почернели от горя, лицо белое, неживое… Она не плачет, она как бы задыхается каждые пять-десять секунд, и тогда красным шарфом затыкает себе рот, пытается остановить воздух, который рвется внутрь и раздирает грудь…
- Вы мне действительно нравитесь… - говорит матрос Дыбенко. - Оставайтесь при мне. Оставайтесь, хорошо будет… Дом сохраните, будете жить, как жили… Вы барышня грамотная, я вас комиссаром сделаю… У вас получится. Куртку выдам кожаную… Маузер на боку… Любить буду каждый день… не то что ваши соплевозы… Решайте, гражданочка… Я один раз предлагаю…
Тася молчит, борется из последних сил с удушающим ее воздухом, а матрос Дыбенко спокойно общается, будто ничего не замечает. Кричит:
- Кольцатый! Ко мне!
Дверь кабинета открывается, на пороге вытягивается матрос Кольцатый - видимо стоял у дверей на карауле. Матрос Дыбенеко командует:
- Кожанку и маузер сюда!
- Так ведь… - тушуется матрос Кольцатый.
- Исполняй!
- Есть!

Матрос Кольцатый скрывается за дверью.

49

По резной дубовой лестнице Кольцатый спускается в залу.
У свадебного стола гуляет команда матросов, с ними - Клава и Людок.
Барышни шляпницы согнаны в угол, к ним приставлена охрана - вооруженный матрос, он сидит на золоченом канапе и угощается с персонального ломберного столика, который ему доставили сердобольные товарищи.
Оркестр вразнобой играет «Яблочко», но желающих танцевать вприсядку в зале не видать.
Время от времени кто-то из матросов покидает стол, идет в угол залы, хватает за руку барышню-шляпницу и утаскивает ее по лестнице на второй этаж - под одобрительный рев застольников.
Кольцатый спускается к столу, подходит к Клаве:
- Раздевайся.
- Пошел вон, - лениво отвечает Клава.
- Раздевайся!
- Те что, этих мало?! - Клава пьяно кивает на бывших подруг, сгрудившихся в углу залы.
- Командир сказал, раздевайся!
Кольцатый грубо срывает с Клавы черный бушлат и ремень с маузером. Под бушлатом на Клаве открывается белая шелковая рубашка с воланами, заправленная в матросские клеши.
Клава тут же теряет былую наглость, хлюпает носом:
- За что?..
- Было бы за что, убил бы, сука! - веселится Кольцатый.
Застолье отвечает буйным ржанием. Шутка прошла. И стала вечным анекдотом.
Кольцатый входит в кабинет, бросает на кожаный диван бушлат и маузер.

50

- Спасибо, - говорит матрос Дыбенко.
Он тут же подхватывает обновы, приближается к Тасе. Аккуратно и нежно набрасывает ей на плечи бушлат. Подпоясывает маузером. Отходит в сторону, любуясь. Довольно констатирует:
- Н-ну?! Богиня революции!!!
Услышав знакомые слова, Тася, наконец, дает волю слезам, рыдает в голос.
- Ну вот, - вздыхает матрос Дыбенко. - Чего ты? Сейчас время такое. Решения надо принимать быстро!
Он открывает хозяйский бар, достает стаканы, бутылку конька, наливает, подносит стакан коньяка к губам Таси.
- Ты выпей! Выпей, полегчает…
Тася исходит слезами, а он, умело придерживая ей голову, вливает ей в рот содержимое стакана. Тася захлебывается коньяком, давится - и все же глотает…

51

Она просыпается утром в своей спальне, на своей постели. Ничего не понимает в первую секунду. Потом видит на соседней подушке лицо спящего матроса Дыбенко.

Ужас, настоящий вселенский ужас возникает в ее глазах, когда она понимает, вспоминает, что с ней произошло - вчерашним днем, вечером… и ночью. Ее рот уже начинает приоткрываться для дикого, нечеловеческого крика…
…как вдруг на плечо ее ложится рука. Она поворачивает голову и видит Тони.
Тони стоит рядом с кроватью. Он не похож на человека. Он похож на силуэт человека, который сияет огнем, серебристо-голубоватым. Но в сиянии огня угадывается все, что когда-то относилось к Тони: нос, губы, волосы - только вместо пробитого пулей глаза ничего нет, совсем ничего, рваное пустое пространство, сквозь которое виден шкаф за его спиной.
- Все хорошо… - шепчет Тони, который вернулся. – Не надо кричать, все хорошо… Все хорошо, дорогая…
- Мне больно… - шепчет Тася.
- Сейчас пройдет… - шепчет Тони, который вернулся. - Тебе больно оттого, что рядом враг… Но мы можем остановить ему сердце, и боль пройдет…
Он осторожно берет Тасю за руку, поднимает с кровати, подводит к туалетному столику, достает из ящика длинные узкие ножницы, раскрывает их, протягивает Тасе. Тася берет ножницы, возвращается к постели, всаживает узкое тонкое лезвие ножниц точно в сердце матросу Дыбенко.
Матрос Дыбенко даже не просыпается, только чуть заметно вздрагивает, переходя из ночного сна в сон вечный…
Тони, который вернулся, одобрительно улыбается, шепчет:
- Браво, Таисия Николаевна! Если вы действительно дочь императора, вы имеете право на эту божественную месть!..
Тася бежит в гардеробную комнату, находит там длинную черную юбку, черную блузку с коротким мужским воротником, поверх надевает бушлат, подпоясывается маузером, осторожно, как ребенка, снимает с кресла красный шарф Тони, целует его, потом обматывает вокруг шеи – и бросается к дверям, чтобы покинуть спальню своего дома навсегда.
- Не туда, дорогая! - шутливо зовет ее Тони, который вернулся.
Он открывает потайную дверь в черный коридор, ведет ее туда, освещая собой темноту коридора.
В конце черного коридора находится такая же черная дверь, открыв ее, Тася попадает на узкую винтовую лестницу, спустившись по которой, оказывается на улице вдалеке от главного входа, охраняемого пулеметчиками.
Тася выходит на улицу. Тони, который вернулся, застывает в дверях.
- Теперь - на вокзал! - смеется Тони, который вернулся. - И в Москву. Ты должна убить его.
- Кого? – спрашивает Тася.
- Того, кто убил меня. Его зовут Ленин. Владимир Ильич. Прощай.
- А ты?
- Я должен остаться в этом доме. Навсегда. Таковы правила…
- Где его искать? - спрашивает Тася.
- Это просто, - отвечает Тони, который вернулся. - Завтра найди завод Михельсона!

52

Железные двустворчатые ворота завода Михельсона раскрыты настежь.

Тася застыла у ворот, поправляет на груди красный шарф, расправляет его весьма тщательно - почему-то шарф важен для нее в эти томительные секунды покушения. Потом она расстегивает деревянную кобуру маузера, долго копошится внутри огромной кобуры, наконец, вынимает из нее небольшой пистолет «Браунинг». Кобуру маузера вместе с ремнем отбрасывает в кусты сирени. Шепчет:
- Да, я поняла, стрелять надо только в голову. Только в голову. Это его больное место. Я помню - он маленький, лысый, усы и борода - рыжие. Когда говорит - картавит! И даже когда молчит - картавит, - хохочет Тася. - Конечно я его узнаю! Я же его видела! Мы вместе приехали в Питер, поездом, из Гельсингфорса!

53

Во дворе завода Михельсона идет митинг. Черная толпа рабочих внимает вождю мирового пролетариата. Вождь тоже весь в черном, черную же кепку снял с головы, зажал в руке, размахивает кепкой, гипнотизируя толпу. Толпа заворожено следит за летающей кепкой (стандартный гипнотический прием).
Стены цехов - закопченные, грязные, небо мрачное, серое, дождевое.
Природа, словно бы, подготовила заранее декорации этой драмы. Много черного. И на этом фоне божественным золотом светится рыжая голова оратора-вождя…

54

Черная юбка. Черный матросский бушлат. Черный браунинг в маленькой руке. Тася вполне бы вписалась в трагическую картину двора, если бы не красный шарф. Зачем она целует шарф Тони перед тем, как начать стрелять в Ленина. Наверное, все это что-то значит?

55

В черном дворе они словно предназначены друг другу: рыжая голова и красный шарф. Они сближаются, сближаются… Ленин идет к машине, тоже черной - длинной, похожей на катафалк, Тася идет к Ленину, руку с браунингом вытянула вперед, жмет на спусковой крючок, гремят выстрелы - один, другой, третий… Ленин смотрит Тасе в лицо, словно хочет ее запомнить, черная толпа рабочих за спиной Ленина оцепенела от растерянности и почти религиозного ужаса, Ленин падает, руки рабочих подхватывают его… Тася бросает пистолет, бежит к раскрытым воротам…
За воротами она срывает с себя красный шарф, прячет его за пазуху бушлата. Перестает бежать, идет медленно и как бы спокойно.
Скользит мимо трамвайной остановки. Видит на остановке старую еврейку в красном шарфе, очень похожем на шарф Тони. Еврейка почти слепая, толстенные очки налеплены на глаза. Тася шепчет еврейке, проходя мимо - идет и шепчет застывшими губами:
- Снимите шарф… Скорее…
- А в чем, собственно, дело? – высокомерно спрашивает еврейка.
Объяснять некогда, Тася торопится прочь, подальше от ворот товарищества Михельсона. Слепая еврейка не понимает ее, аккуратно расправляет красный шарф на худосочном горле, еврейке, видимо, зябко на морозной московской улице…
Тася удаляется от остановки, вполголоса огрызаясь на упреки невидимого собеседника:
- Я не дрянь, я попала… Я стреляла в голову, как ты велел! Я не виновата, у него голова – железная! Пули - бам, и отскочили - одна в шею, другая в плечо! Что я могла сделать?

56

Большая группа рабочих выбегает из ворот на улицу, на лицах - революционное бешенство, в глазах - обещание смерти. Они мечутся у ворот в поисках красного шарфа… И находят его!

На трамвайной остановке они хватают ее, одетую в черное полуслепую еврейку, на шее которой алеет красный шарф.

Толпа рабочих захлестывает еврейку, ей выворачивают руки, её бьют по груди, животу, спине - ногами, рвут волосы на голове, она кричит, она не видит тех, кто ее убивает, она таращит выпуклые белые глаза, наполненные слезами и болью, старается разглядеть хотя бы одно лицо…

- За что?! - кричит еврейка. - Я профессиональный революционер с 1905 года, член партии социал-революционеров с 1907 года, я полжизни провела на царской каторге! Товарищи рабочие, не бейте же меня, я - друг! Я - Фанни Каплан! Спросите товарища Ленина, он меня знает!

- Стоять! - громовой голос останавливает избиение несчастной еврейки.

Огромного роста мужчина, весь в черной коже – это его голос заставил всех повиноваться – подходит к ней, вглядывается в окровавленное слепое лицо, рассеченное на части прядями жидких седых волос.

- Она нам нужна живая… Отнесите ее в мою машину…

Огромный мужчина и слепая еврейка проведут вместе еще два дня, он устало и монотонно будет задавать ей один и тот же вопрос:

- Кто тебя послал?... Говори… Кто?.. Кто дал тебе оружие?..

Она устало и монотонно будет распухшими губами пытаться произнести один и тот же ответ:

- Я ничего не знаю… Я - Фанни Каплан, член партии социал-революционеров… политкаторжанка… С каторги меня освободила революция…

57

Она тихо стонет, когда грубые солдатские ботинки опять внедряются в ее беспомощное тело и продолжают избиение того, что связывает человека с жизнью…

…После чего ее вынесут к кремлевской стене, положат на грязную, истоптанную копытами лошадей, загаженную навозом землю, огромный мужчина выстрелит ей в голову из нагана, поднимет ее за ноги и так - головой вниз - бросит в железную бочку. Содрогающиеся в агонии ноги будут торчать над ржавыми обглоданными краями бочки, в бочку плеснут бензина, швырнут в бензин горящую спичку, и акт пролетарского возмездия свершится…

58

Бочка исторгает в серое небо жирный черный густой дым, мужчины - их немного, все одеты в ритуальные кожаные куртки - устало курят, ждут. Так положено – ждать окончания процедуры, чтобы лично засвидетельствовать решительное исчезновение врага революции.

Их окружают стены, дворцовые и крепостные, старые, облезлые, обесцвеченные вековой копотью, ржа объела штукатурку, и взбугрила кирпич. Булыжная мостовая горбится вниз, к въездной башне…

По мостовой, снизу вверх, ведут Тасю, ведут мужики в ритуальных черных кожанках, вооруженные винтовками и маузерами одновременно, - винтовки за спиной, маузеры на боку.
Черная кожа входит в моду у рыцарей революции совсем не потому, что надежна и практична. Чуть раньше, в начале века, кожаные куртки надевают на себя водители автомобилей - отчаянные и смелые люди, они управляют лакированными стальными драконами, машинами будущего, и черные кожаные куртки - тоже одежда будущего, символ отчаянной храбрости и могущества разума, кожаные куртки воспринимаются в начале века так же, как космические скафандры - в его конце.

59

Кожаные люди ведут Тасю к дымящей бочке.
Пустое пространство дороги заполнено отчаянием. Грубые крестьянские лица не видят, не чувствуют его, они проходят сквозь него, как сквозь утренний туман.
Тася молчит, глядя прямо перед собой остановившимися глазами.
Кожаные люди подводят ее к бочке.
- Что? - спрашивает огромный мужчина громовым голосом.
- Говорит, что стреляла в товарища Ленина, - докладывает один из кожаных людей. - Мы, говорит, арестовали невинного человека.
- Сама пришла? - спрашивает огромный мужчина.
- Сама, - кивает один из кожаных людей. - Прочитала в газете про Фанни Каплан. Не хочет, чтобы из-за нее погиб невинный человек.
- Так я и знал, - говорит огромный мужчина с громовым голосом. – Не могла эта слепая б… стрелять одна. Их было двое. Конечно. Именно двое… Хорошо. Отведите ее в подвал.
- Вы сволочи, господа! - шепчет Тася. - Вы - сволочи! Вас проклянут ваши собственные дети!..
Тасю долго куда-то ведут вдоль кремлевской стены. Спускают в подвал.

60

В подвале Тася видит письменный стол. За столом сидит господин Дурасов, ее бывший управляющий. Он тоже в черной кожанке, как все прочие здесь, похоже - он тут свой.
- Вот, - хрипит караульный. - Еще одна, товарищ Дурасов. Тоже стреляла в Ленина. Велено допросить перед распылом. Не тяни, товарищ Дурасов. Расстрельная команда устала…
Дурасов узнает Тасю мгновенно. Глаза его стекленеют, он закашливается и долго отхаркивает мокроту. Караульные терпеливо ждут, пока он вытрет губы.
- Она же сумасшедшая, не видите?! - наконец, говорит Дурасов. - Раньше Наполеоны да Бонапарты людям свинчивали мозги. Теперь другие времена, все хотят быть Фаней Каплан. Не понятно? Возьмите машину, свезите ее в психушку, на Канатчикову дачу что ли, пусть там разбираются…
Судя по всему, Дурасов в этом подвале тоже был кем-то вроде управляющего...
Караульные выводят Тасю из подвального помещения, товарищ Дурасов долго смотрит ей в след, потом пожимает плечами и громко кричит в сторону двери:
- Давайте следующего!..

ЭПИЛОГ

Говорят, еще в 1937 году ее можно было увидеть на Канатчиковой даче. Она гуляла по огромному яблоневому саду в компании других сумасшедших, стриженая наголо, одетая в серый бумазейный халат. Выделял ее в толпе несчастных только длинный шелковый красный шарф, который никакими силами не удавалось у нее отобрать.
Когда у нее спрашивали имя, она отвечала:
- Фанни...
Было у нее там три друга. Усатого хромого горбуна она звала «мой добрый Модильяни»; мрачный старик с лицом потерявшего бороду Льва Толстого именовался ею «гражданином Пикассо»; а слепцу с поварешкой на шее, в которую он методично и тупо бил алюминиевой ложкой, она присвоила кликуху «Шагал». Да, именно Шагал, только не Марк, а Василий. Как будто ее безумный космос вылепил идеального художника из Шагала с Кандинским.
Рисовать никто из них даже не пытался. И Тасю невозможно было заставить прикоснуться к бумаге или карандашу.
Один раз в год, в январе, в день смерти Ленина, все четверо устраивали необычный спектакль. Безумные мужчины, изображая строгий тюремный конвой, выводили Тасю в заледенелый мертвый яблоневый сад, прислоняли к красной кирпичной ограде, похожей на стену кремлевского замка. Тася прижимала спину к шершавой кирпичной кладке, друзья отходили от нее метра на три, выставлялись шеренгой. Горбун Модильяни доставал из кармана обрывок газеты и торжественно зачитывал приговор:
- Фанни Каплан! Член партии социал-революционеров! Признана виновной! В том! Что стреляла во Владимира Ильича Ленина! И не попала!!! За что и приговаривается к расстрелу.
После приговора все трое поворачивались к Тасе спиной, забрасывали на голову халаты, скидывали штаны, и по команде : "Пли!" - разом издавали громкий непристойный звук. Тася падала на белый снег, билась в конвульсиях, терзая черными нестриженными ногтями обрывки грязного красного шарфа, и долго кричала...
Так ей повезло: родиться и умереть в России… Возможно, ее судьба и породила слухи о том, что Фанни Каплан не расстреляли в 1918 году, а до конца жизни паковали по психушкам. Легенду эту даже озвучила пресса в горячие деньки самоубийства СССР.

Исаак Фридберг *родился в Вильнюсе. Писатель, кинорежиссер, драматург. В качестве сценариста участвовал в создании художественных фильмов “Гнездо на ветру”, “Пожелай мне нелетной погоды”, “Лесные фиалки”. По своим сценариям он как режиссер поставил художественные фильмы “Столкновение”,” Дорогой Эдисон!”,” Прогулка по эшафоту”. В 1988 году вышла лента “Куколка”, вызвавшая дискуссию в прессе.*
Исаак Фридберг – автор сборника “Тихие праздники”, “Здесь я!”. В 1992 году вышел его документальный фильм “Художники еврейской диаспоры. Россия. XX век”. В 2003 году - постановщик приключенческого сериала “Русские амазонки”.
Вместе с режиссером Юлием Гусманом он работает над пьесой в связи с близящимся 100-летием со дня рождения замечательного актера Владимира Зельдина.

ГАРИ ЛАЙТ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Ладисполи

Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали…
Давид Самойлов

Давай вернемся в Ладисполи,
туда, где первая исповедь,
на черный песок упавшая,
стала предверием истины.
Давай мимо Рима с Венецией
шагнем в пустоту с трапеции,
и в этом маленьком городе
увидимся с тенью детства.

Ты помнишь запах оливковый
и шоколад со сливками,
как нам не хватило дерзости
и мы это скрыли улыбками.

Как с нами шутили кондитеры:
«Куда едут ваши родители,
в Канберру и Сан-Антонио?…
а здесь мол, вы просто зрители».

А мы вдыхали Италию,
и обнимали за талию
всю чувственность предвкушения,
которую там оставили.

Вот выплыли из подсознания
этрусски, и предсказания,
еще ореол романтики
из книжных изданий Израиля.

Мы там отмечали «Фантою»
и пением полу-дискантами
тринадцатый день рождения
да бредили чудо-гарантами.

А дальше, в иных отечествах ,--
в быту буржуазность с купечеством,
мы заняли ниши в обществе

зовущемся человечеством.
Но вовсе не стали близкими,
 и Альпы нам кажутся низкими,
 давай вернемся в Ладисполи,
 чтоб вновь обрести себя.

Новоанглийское

Сигареты и кофе – забытый и сладкий удел девяностых,
горстка дней – перерыв в постоянной погоне за птицей удачи,
на исходе зимы вдруг становится ясно,
что, в сущности, просто:
Вечер. Взлёт. Снегопад. Турбулентность. Посадка.
Никак не иначе...
Скоростная дорога в одном из забытых
и напрочь заснеженных штатов,
и стремительный съезд в амальгаму и память –
сто миль от Нью-Йорка...
Ощущенье, что снова придётся в кредит разговаривать с папой
в ранний вечер субботы, – не скажешь всего,
смысла нет, да и толка...
Эта Новая Англия стала прелюдией к Англии старой.
Через несколько лет ощущенья обеих слились воедино,
словно горько вздохнувшей, упавшей с постели гитарой,
так пронзительно всхлипнувшей и расплескавшей рутину...
В этой Англии не было предощущений Парижа,
как в иной – в трёх каких-то часах полугрёз под Ла-Маншем,
«... я тебя никогда не забуду...», но не пожалею, если увижу, –
что поделать, ведь женщины неумолимо становятся старше...
В палиндромную осень с любимой настолько, что все были против,
нанизав этот край на себя, не сказавши ни слова,
мы глотали обиду друг друга, в машине, из кресел напротив,
и вовсю наглотались, и горечь потери ложилась в основу...
Снег по всей Новой Англии валит сплошною стеною,
но посланец глубинки, похоже, готов к отраженью стихии,
нарочито по крышам пурга, как старик Козлодоев,
память лепит иной снегопад –
в цифре семьдесят семь отражается Киев.

Город

Там, где зеленые деревья
И золото на голубом...
Борис Гребенщиков «Золото на голубом...»

Золото на голубом –
Отступают иные виденья.

Волшебством происходят мгновенья,
все оформится позже, потом.

А пока – купола наяву,
светлый образ в пронзительной гамме,
город детства – какими судьбами
я твоей мостовою плыву...

Сколько раз, уходя навсегда
я во снах предвкушал возвращенья,
обстоятельств чеканные звенья,
вновь меня приводили сюда.

И, сглотнув расставания ком,
в самолете, сорвавшемся с места,
осознал – это рай мой и бездна –
«... Золото на голубом».

Памяти Василия Аксенова

Без раболепия,
напрасных громких слов,
без англицизмов,
столь уместных в наше время,
с извечной благодарностью
за остров,
где все иначе,
и не ведают стыда
и страха
те, кто рождены свеченьем…
Заживающий ожог
Вольтеровым пером
возводит к стилю редких земель
где негатив желтка…
В Вирджинии такие же дожди,
и Пушкину как прежде одиноко
в полмили от Джорджтауна…
Увы… Не все уходы
знаменуют возвращенья.
Москва. Июль. Иные времена.

***

Достаточно простоты
на каждого мудреца.
На все открытые рты
хватит его словца.

Он истиной всех оделит
 в душевной своей красоте.
 А вечерком захандрит,
 вспомнив словечки те.

Он знает наверняка –
нет абсолютных правд.
Вот старого чудака
осыпят горстью наград,
воздвигнут ему монумент,
и он перестанет быть...
А утром явится мент
книги его ворошить.

Всё то, что он говорил,
заставят служить молве,
которую он не любил,
был против и даже вне.

Седой человек молчит --
таков удел мудрецов.
Уже не лютуют враги...
Не нужно, в конце концов.
А нужно полить цветы
и скорбь утереть с лица...
Достаточно простоты
на каждого мудреца.

Гари Лайт *родился в Киеве в 1967 году. С 1980 года живёт в США. По профессии - адвокат. Автор семи поэтических сборников: "Верь", Москва, 1992; "Voir Dire", Санкт-Петербург, 1993; "Треть" Philadelphia, 1995; "Город", совместно с Мариной Гарбер, Киев, 1997; «Возвращения», Киев, 2002, исправ. и дополнен. – Киев, 2005; «Lake Effect», Киев, 2012, «Траектории», New York, 2013.*
В 1998 году принят в Союз писателей Москвы. Участник Антологий "Строфы Века-2", а также «Киев. Русская поэзия. XX век»". Стихи опубликованы в российской, украинской и зарубежной литературной периодике.

МАРК ВЕЙЦМАН

БЫЛОЕ И ЛЮДИ
Главы из книги

Мастер человеческого общения. ЛЕОНИД ТЁМИН

Если бы Леонид Самойлович Тёмис (Тёмин) дожил до наших дней, то уже отпраздновал бы своё 80-летие. Увы, его жизнь оборвалась гораздо раньше – в 83-м, почти сразу же после 50-летнего юбилея. И – неожиданно. Прилетел из Москвы в Тбилиси по переводческим делам (переводил грузинских поэтов). Уже в аэропорту почувствовал себя плохо, потерял сознание, угодил в реанимационное отделение больницы, где и скончался. Причина смерти – опухоль мозга, о которой ни он, ни его родные, ни врачи, лечившие его от совсем других болезней, абсолютно ничего не знали.
Лёнина дочь от первого (киевского) брака Таня вскорости прислала мне его последнюю фотографию и некролог, вырезанный из грузинской республиканской газеты "Заря Востока". В нем, как водится в подобных случаях, было воздано должное таланту и творческим достижениям покойного поэта, но особый упор был сделан на его личные качества. В частности, сказано: "Мастер человеческого общения". Что более чем справедливо. А ещё, сообщила Таня, что похоронен её отец на самом престижном тбилисском кладбище, на горе Мтацминда.

…В ноябре 61-го года, оказавшись на автовокзале Макеевки, я долго, но безуспешно пытался обнаружить большие чехословацкие автобусы – "Шкоды" с надписью "Макеевка – Сталино". То есть сами-то эти автобусы имелись в наличии, но следовали они до какого-то неведомого Донецка. В ответ на мои недоуменные вопросы услышал, что город Сталино, в прошлом – Юзовка, только что вновь переименован, и отныне называется он - Донецк. В результате я пропустил ближайший автобус и, чтобы скоротать время до следующего, направился к газетной витрине. Полполосы какой-то центральной газеты, кажется, "Известий", занимали стихи незнакомого мне поэта Леонида Тёмина с врезкой Самуила Яковлевича Маршака.
Много лет спустя я прочитал в воспоминаниях Евдокии Ольшанской: "В Киеве жил молодой, талантливый и очень больной поэт Леонид Тёмин. Маршак любил его и относился к нему, как к сыну..."
Я так зачитался, что пропустил и следующий автобус.

Дождя косые линии
Весь мир перечеркнули
И водяные лилии
По лужам вверх взметнули...

Или:

Я не люблю вечнозелёных,
Листвой шуршащих год подряд.
Мне ближе - ясеней и клёнов
Сезонный северный наряд.

Его ветрами злыми косит,
Корежит засухи набег,
Его срывает наземь осень,
Его хоронит первый снег...

Стихотворение было построено на противопоставлении многострадальных северных деревьев "открыточным красавицам" – пальмам, которым не вредят даже резкие перепады погоды, ибо они легко принимают любую "смену конъюнктур". Так сказать, дурак не заметит, а умный поймёт...
Особенно поразило стихотворение, посвящённое матери Семёна Гудзенко Ольге Исаевне, "В гостях у матери поэта", в частности, его концовка:

...Я шагаю по Садовому,
В такт стиху шаги печатая,
Ждёт меня работа новая,
Жизнь, нисколько не початая,

И к чертям слова щемящие
Утешения и жалости!
А поэты – настоящие –
Умирают не от старости...

Не подозревал, должно быть, автор, что две заключительные строки – не только о Гудзенко, но и о себе...

Три года спустя, в 1964-м году, я в составе делегации Донецкой области оказался в Харькове, куда собрали молодых литераторов юго-восточных областей Украины. На пленарном заседании все кому не лень костерили Бориса Чичибабина за идейную порочность. Недавно в магазине "Поэзия" выступал Евгений Евтушенко. Рассказывали, что желающим его послушать в магазине не хватило места. Пришлось "выйти на волю". Собралась толпа. Вдруг у поэта "сел" голос, и тогда ему с балкона спустили чашку с тёплым молоком...
На поэтическом семинаре, признаться, было скучновато. Произведения его участников, мягко говоря, не вдохновляли. Так же, как и выступления оппонентов. И тут появился хромающий человек с палочкой. "Тёмин, – шепнул мне Юрий Милославский, в ту пору 19-летний актер Харьковского кукольного театра, участник знаменитой чичибабинской студии, мой добровольный гид и истолкователь местных литеатурных реалий. – Между прочим, закадычный друг Бориса Алексеевича".
Лёня немного послушал, полистал рукописи и попросил слова. Его выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы. А он ведь не сказал ничего особенного, просто назвал вещи своими именами. Озвучил фамилии двух-трех участников, чьи стихи его "зацепили". В том числе и мою. Потом мы немного поговорили, обменялись комплиментами и адресами. Пришел Борис Алексеевич. Вышли вместе – Тёмин с Чичибабиным и мы с Юрой. Нам было не по пути. Вдруг услышали голос Тёмина: "Ребята! Может быть, пообедаем вместе?" До сих пор корю себя за то, что это предложение тогда отклонил. Вероятно, из-за его неожиданности. К тому же не хотелось

внедряться в дружеское общение двух замечательных поэтов. "Тогда жду вас на своем выступлении!" – крикнул Лёня вдогонку.
Выступление Леонида Тёмина в зале "чичибабинского" клуба собрало полный зал. Разумеется, здесь были и все студийцы Бориса Алексеевича. Юра знакомил меня с ними. Запомнился улыбчивый – уже не подросток, а юноша – Эдик Савенко, по кличке Лимон (действительно, его коротко остриженная белесая голова напоминала этот плод), в будущем, Эдуард Лимонов. Их всех связывали, судя по разговорам, многочисленные общие интересы. Сообща ругали "асадистов", под которыми разумели литераторов-приспособленцев, авторов рифмованных поучений и апологетов прописных истин. Похоже, жизнь в этой среде так и кипела. Тут же мне вручили, по просьбе Юры, совписовскую книгу Чичибабина, кстати, уже кому-то подписанную, которую я дотоле долго и безуспешно разыскивал.
Лёня начал своё выступление с заявления: "Скандала не будет!" Оно предназначалось, конечно, в основном для несомненно присутствовавших в зале гэбистов, курирующих культуру, так называемых "любителей искусств", и означало, что будут читаться лишь залитованные, то есть опубликованные и, следовательно, прошедшие через горнило цензуры стихи. Хотя, подогреваемый восторженной реакцией зала, Тёмин читал, конечно, и другие.
В зале присутствовала его мама, Ева Фридриховна, к которой он иногда обращался со сцены за советом: а теперь, мол, что читать? Это? Или лучше - это?
И вдруг – как обухом по голове: "Я тут недавно познакомился с поэтом Марком Вейцманом и его стихами. И хочу, чтобы вы тоже их услышали! Давайте, Марк, на сцену". И уселся за столик рядом с доброжелательно улыбающимся, бородатым тогда, Чичибабиным. Куда тут денешься, пришлось читать...

Моё эпистолярное общение с Лёней (некоторые письма писала под его диктовку Ева Фридриховна, что означало – болеет), кроме ряда мировоззренческих и эстетических совпадений, выявило и такой любопытный факт. В нашем родном Киеве мы были соседями: он жил в шестиэтажке, прямо "за спиной" Владимирского собора, я – слева от собора (улица Франко, 36). То есть мы обитали на расстоянии 50 метров друг от друга. Оба в детстве гоняли мячи на пустыре, примыкавшем к собору. Для меня Тёмин стал чем-то вроде старшего брата (разница в возрасте – 5 лет). Одно своё стихотворение, посвящённое ему, я назвал "Двойник", другое –"Предтеча".
Практически совпали сроки переезда Тёмина в Москву и моего поступления в Литинститут. Появилась возможность живого общения.
Кое-что из того, что осталось в памяти.
Бедно одетый человек просит сигаретку. Тёмин отдаёт ему всю пачку. В очереди за пивом работяги принимают его за своего.
Из уст Тёмина впервые слышу историю о том, как Сарик, то есть Семён Гудзенко, вышвырнул из киевского ресторана "Динамо" двоих подвыпивших военных лётчиков, громогласно высказывавшихся по поводу "этих жидов"...
Прихожу в гости и, как академик Ландау, переступивший порог лаборатории Нильса Бора, молодые сотрудники которого были вооружёны игрушечными пистолетами, сразу же получаю в лоб шариком от настольного тенниса. А после мы с Лёней соревнуемся в меткости, стреляя по мишеням, несмотря на увещевания Евы Фридриховны перейти к застолью. По большому счёту непосредственного, порывистого Лёню можно было бы

назвать по Белинскому – "детским человеком"... На письменном столе – портрет Пастернака и журнал "Байкал" с крамольным сочинением Аркадия Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша"...
А вот рассказ Тёмина о совместном с Евтушенко выступлении перед преподавателями и студентами МГУ: "Такое впечатление, что "Евтух" хочет сесть и сделаться национальным героем-мучеником. Читал всё подряд, несмотря на то, что его строго предупредили перед выступлением – только залитованное!"
...Вечер для выпускников московских школ в Центральном доме работников искусств. Тёмин радостно возбуждён: ребята выразили желание встретиться именно с ним. Спрашивает: "Что им почитать?" – "Конечно, "Смерть чиновника" – отвечаю. Дело в том, что Лёне пришлось немного поучительствовать, ведь по образованию он филолог, окончивший Киевский университет: "Служил я в санатории детей-ревматиков". Полагал он, что детей развеселит смешной чеховский рассказ. Но реакция учениц его сильно расстроила: "В палате старших девочек – многоголосый плач": "Для них и смерть чиновника – не смех, – а чья-то смерть"... Ребята в зале слушали его, затаив дыхание...
Узнав, что я участник литинститутского семинара Доризо, при встречах с Николаем Константиновичем Тёмин постоянно пытался "замолвить" за меня "словечко". А Доризо рассказывал об этом мне, смеясь, и называет Лёню – "этот, с палочкой", хотя отлично знал его имя. Ещё бы! Ведь Гелена Великанова, бывшая жена Николая Доризо, по всей стране с огромным успехом исполняла песню "Девушки сидят на подоконнике" – на слова... Тёмина! При том что музыку к ней написал не кто иной, как великолепный Кирилл Молчанов, его, Доризо, давний друг и соавтор. Двойная измена!
Вообще-то это замечательное по интонации и настроению стихотворение называлось "Брошенная песенка":

Девушки сидят на подоконнике,
Обнявшись, вполголоса поют,
Где-то их, наверно, ждут поклонники,
Ну и пусть немного подождут.

Девушкам ни капельки не грустно,
Просто с грустной песней по пути,
Полон ожиданий и предчувствий
Простенький, доверчивый мотив.

То ли голоса берут за душу,
То ли просто песня хороша...
И не знают девушки, что слушаю
Я за дверью пенье, чуть дыша.

Оборвут, не кончив, и со смехом
Побегут с ребятами в кино
И оставят песню грустным эхом
Биться в засиневшее окно.

Брошенную песню пожалею,

Отворю тихонько дверь мою,
В комнату впущу и, как сумею,
Всё, что я запомнил, допою...

Восторженное повествование о поездке в Польшу. Перевёл с польского прекрасную пьесу. Получил от этой работы огромное удовольствие, да ещё и заработал неплохо. "Это вроде бы тебя отлично накормили в ресторане, а денег не взяли, наоборот, – заплатили!"
А ещё – в Польше существует некая ностальгия по евреям, её покинувшим.
Но вот что пишет о другой поездке Тёмина в Польшу, уже в составе писательской делегации, её руководитель, небезызвестный националист и антисемит Станислав Куняев: "Четвёртым в нашей делегации был Леонид Тёмин. Одного еврея, тем более в Польшу, мне должна была навязать наша иностранная комиссия". Первым, был, разумеется, сам Куняев, вторым – Олег Чухонцев, третьим – Валентин Сорокин. В выборе Чухонцева, как явствует из статьи, её автор прельстился мнением о нём Давида Самойлова: "Очень талантлив, но, кажется, малость русопятит" – и надеждами перетянуть Олега в "национальный" лагерь. К счастью, его надежды в этом смысле не оправдались. Зато Валентин Сорокин, полная бездарность, но "рабочая косточка", оказался вполне надёжен.
А вот с Тёминым получилась неувязочка. Сначала он привел в бешенство руководителя делегации, процитировав из блоковского "Возмездия":

Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляк***о***в,
Дремать придумала орава
Военных русских пошляков...

Затем оскорбил – после того, как тот высказал своё мнение о только что появившемся на экранах фильме "Кабаре" (дело было в 1978 году). В ответ на заявление Куняева о том, что одна из сюжетных линий фильма – ариец влюбяется в еврейку – свидетельствует о том, что фильм пропагандистсткий и пошлый, а "кривляка Минелли лупоглаза, вульгарна и похожа на акулу", Лёня, обращаясь к нему, произнес: "Сволочь! Не-на-ви-жу!"
И наконец - исчез: "На другой день нам нужно было ехать в Краков, но мы не нашли Тёмина в гостинице. Однако местные писатели еврейского обличья заявили, что Лёня не пропадёт, что о нём есть кому позаботиться."
Что говорить, хорошенькую свинью подложил с виду благодушный, нескандальный и благожелательный Лёня своему, мягко говоря своеобразному "руководителю".
Немудрено, что тот всячески пытается его очернить, но, чтобы продемонстрировать свою "беспристрастность", приводит свидетельство о Тёмине Юнны Мориц, выросшей в Киеве и дружившей с Лёней: "О, Лёня! Он в молодости поражал нас своим остроумием, способностями, обаянием. Он был самым талантливым из нас. Но потом с ним случилась беда – травма тазобедренного сустава, множество неудачных операций". Далее Юнна Пинхасовна якобы сказала: "Чтобы не страдать от болей, он пристрастился к наркотикам". Куняев делает вывод: стало быть, деградировал! Резонный вопрос к очернителю: "Зачем же в таком случае вы выбрали именно его из трехзначного числа московских писателей-евреев?

Никогда я не видел Леонида в состоянии наркотического опьянения или отравления. А вот выпить он действительно любил. Что правда, то правда. Но выпивка лишь усиливала его человеческое обаяние, подшофе он становился более раскованным и остроумным, замечательно читал стихи – свои и чужие, которых знал и любил великое множество. На выступлениях его часто просили прочесть мою любимую "Трын-траву", которую и теперь, по прошествии многих лет, я цитрую по памяти:

Народный лекарь прав:
Я славлю мудрый дар
Сварить из диках трав
Целительный отвар.

У них особый цвет,
У них особый нрав!
Каких-де только нет
На белом свете трав, -

И даже есть одна
Травинка-приворот.
Но мне как раз нужна
Трава наоборот.

Готов искать я год,
Готов искать я два
То место, где растёт
Такая трын-трава.

Я бы не счёл за труд,
Я б заготовил впрок
Для тягостных минут
Пузатый пузырёк...

Вот встречусь я с тобой.
Ты скажешь мне: – Постой!
(Я сразу – хлоп настой,
И пузырёк пустой).

– Зачем, – скажу, – стоять?
Иди своим путём,
Ведь ты не только мать,
Ты и жена притом.

Зачем, чтоб у мужей
Болела голова?
К тому же, ей-же-ей,
Всё это трын-трава!

А прошлое не в счёт,
Любовь мертвым-мертва...

Так где ж она растёт
Такая трын-трава?!

Существует замечательный документальный рассказ Александра Шарова (Шеры) "Подарок больному товарищу". Имя товарища при этом не называется, но друзья и близкие Тёмина, конечно же, понимают, о ком речь. Подарок – это несколько трехлитровых бутылей дефицитного пива, за которым нужно было выстоять длиннющую очередь, но два друга – сам Шера и Юрий Домбровский – растолкав жаждущих, получают искомое. Я вижу, как бережно несут они бутыли по улице окраинного Черкизово, как осторожно поднимаются по узкой лестнице старого дома, где обитает Лёня со свой московской женой Мариной и дочерью Машенькой, на четвертый, кажется, этаж, как вздыхают с облегчением: донесли!
И вот из комнаты Тёмина уже доносятся его приветственные восклицания. Но Марина коршуном налетает на визитеров: "Вы же знаете, что Лёне нельзя!" За сим следует смущенное топтание в передней, в результате которого бутыли разбиваются. Катастрофа! А ведь счастье было так близко!

...Всё чаще, приходя к Тёмину, я заставал его в постели. Иногда, особенно если поблизости не было Марины, он отработанным движением доставал откуда-то из-под кровати бутылку спиртного и две рюмки. Я видел, что здоровье его ухудшается, но он был весел, оптимистичен, писал, переводил и даже иногда выбирался из дому.
В 79-ом году я пришел к нему с сыном Мишей, абитуриентом одного из московских вузов. "Миша, – спросил его Тёмин, – ты запомнил дорогу? Так вот – приходи или звони в любое время суток. Мой дом – твой дом". И Миша приходил и звонил. А весной 83-его года прерывающимся от волнения голосом сообщил мне по телефону: "Леонид Самойлович умер"...
На пороге жизни так важно встретить "правильного" человека и ощутить с его стороны моральную поддержку, восхититься его талантом и вдохновиться его примером. Который к тому же относится к тебе "с любовью, верой и надеждой" – как заканчивается дарственная надпись на одной из книг Лёни, адресованная мне.

Мальчишку Лёньку Тёмиса
Не знал я, не любил.
А вот поэта Тёмина
Признал и полюбил.

А между тем впоследствии
Возьми да окажись,
Что жили по соседству мы
Без малого всю жизнь.

И нам обоим памятны

Старинный дом и двор
И в голубое впаянный
Владимирский собор.

Окурок в пальцах комкая,
Читал он в тишине.
О ком это? О ком это?!
Да это ж обо мне!

Он знает все подробности!
Но там, где я немел,
Он всё сказал без робости,
Как думал и умел.

...Под звуки труб рыдающих
Ушёл он далеко
От музы, проживающей
По улице Франко.

Там липы довоенные
И сорная трава
Внушают сокровенные,
Нестёртые слова,

Кресты пылают золотом,
Хоть жизнь уже не та,
И веет лютым холодом
От чистого листа...

В прошедшем времени. АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

После того, как ушёл из жизни Александр Петрович Межиров (22 мая 2009 года, в Нью-Йоркском госпитале,), я всё чаще и чаще обращаюсь к его книгам и стараюсь в мельчайших подробностях припоминать детали нашего общения. В сентябре нынешнего года, кстати, ему могло бы исполниться 90.
А в июле 91-го, впервые войдя в калитку Дома творчества имени Яна Райниса (Дубулты), я оказался прямо перед ним, сидящим на скамейке, и поздоровался. Мы были знакомы шапочно (как-то я побывал на занятиях его поэтического семинара на Высших литературных курсах). «Встретимся в столовой» – сказал А.П. Столовской распорядительнице безапелляционно заявил, указывая на нас с женой: «Эти люди будут сидеть со мной». Оказалось, что до этого в течение двух месяцев он столовался в одиночестве, за маленьким столиком. Поэтому распорядительница удивилась, но возражать не посмела.
Это был подарок судьбы. Стихи мэтра ошеломили меня ещё в юности. Из глубоко почитаемых мною «стихотворцев обоймы военной» я особо выделял для себя его и Бориса

Слуцкого. Кстати говоря, Межиров не шибко «праздновал» представителей этой обоймы, хотя с некоторыми и приятельствовал. Вообще в оценках своих он был жёсток, если не жесток. В посвящённом ему стихотворении я тогда написал:

Впопыхах аргументы ища
Или доводы слушая Ваши,
Я не чувствовал вкуса борща
И овсяной литфондовской каши.

Стихотворческой рати столпы
Были Вами камнями побиты.
Вы клеймили любимцев толпы
И костили кумиров элиты.

Этот пошл и рассудочен тот,
У Искусства иные масштабы.
Божий суд, а не гамбургский счёт
Нужен здесь для начала хотя бы,

Не рукой – перебитым крылом
Воплощается Вечная драма...
Сидя с Вами за общим столом,
Похудел я на три килограмма.

Ни один не сходился пасьянс,
Не предвиделось денег и славы.
Оставался лищь маленький шанс,
Так как были Вы, кажется, правы...

О Цветаевой: «Возьмите её четырехтомник. Это же невозможно читать!»
О Бродском: «Сухо, сконструировано...». Говорю: «Александр Петрович! Если бы Вам предоставилась возможность составить его «Избранное», сколько бы вещей Вы в него отобрали?» Молчит...Улыбается... «Тридцать?» – «Нет». «Двадцать?» – «Нет». «Сколько же?» – «Одно». «Какое?» – «Памяти друга (...Имяреку тебе...»). Называю имена современных маститых поэтов – «Нет, нет и нет...»
Бесспорные любимцы – Ахматова, Ходасевич. Из современников – в первую очередь Семён Липкин. «Его поэма «Техник-интендант», та, над которой плакала отнюдь не сентиментальная Ахматова, гениальна... А «Зола»? А «Бьётся бабочка в горле кумгана...»? Кстати, – вот яркий пример того, как одна строка может позволить судить об уровне дарования поэта». Это последнее стихотворение – об «элегантном варшавском потном» – еврее, беженце от фашистов, оказавшемся в горах Киргизии, любит читать наизусть, восторгаясь интонацией: «...За горами туман, за туманом – вы подумайте только! – Китай!» Ему нравится небольшая поэма Евгения Рейна «Няня», где в финале появляется «Луи Армстронг, архангел чернокожий», со своей волшебной трубой, звуки которой разносятся над землёй – «американской, русской и еврейской»; и его же стихотворение «В последней, пустой электричке...»

Ещё в конце 60-ых я приступствовал в ЦДЛ на юбилейном вечере одного весьма посредственного поэта, который числился в друзьях Межирова. Выступавший на вечере А.П., к моему удивлению, прочёл большой корпус его стихов наизусть. Память его была феноменальной. Однако, думается, читал он современную поэзию не слишком внимательно. Обрадовался, например, когда я указал ему на одно замечательное лирическое стихотворение Евгения Винокурова, его давнего друга, о котором он и представления не имел: «Обязательно расскажу об этом Жене, а то он последнее время что-то захандрил, считает, что не нужен никому и всеми забыт»... Ряд сильных и весьма популярных стихотворений Леонида Мартынова никогда не читал...
О Пастернаке: «Бориса Леонидовича погубил не «Доктор Живаго». Его погубил антисемитизм. Кстати, премию ему следовало дать не за роман, а за стихи».
Рассказывает, как в самый разгар антипастернаковской кампании бежал на Кавказ, дабы не присутствовать на позорном судилище. Вспоминает, как при нём Мартирос Сарьян распекал поэтессу Сильву Капутикян за участие в травле «внутреннего эмигранта».
Заходит речь о Станиславе Куняеве. «Он, – замечает А.П., – «пошёл в народ» благодаря строке «Добро должно быть с кулаками», подхватил эту фразу, походя брошенную Светловым». И добавляет: «Чудовище!» Впрочем, это слово он употребляет частенько по отношению ко многим своим собратьям по перу и вообще людям известным и публичным.

Чудес на свете повидав немало
И множество затронув важных тем,
Когда почти что дней моих не стало,
Я был ошеломлён однажды тем,
Как два добропорядочных злодея,
Известности всесветной короли,
О чём-то большем истово радея,
Ребёнка в жертву славе принесли.

О чём это? Может быть, я ошибаюсь, но полагаю, о том, как создавалась дутая репутация «гениальной» пятилетней «поэтессы» Ники Турбиной, ибо разговор об этом у нас, как говорится, имел место...
Очень его впечатляет проза Юза Алешковского. Особенно «Синенький скромный платочек» и «Кенгуру»...

…Уже почти полгода он живёт в Доме творчества один. Жена в Москве, дочь в Англии, любимая внучка Анна в США. На столе потрепанное Пятикнижие, видавшая виды пишущая машинка, пустая бутылка из-под местной самопальной водки, початая банка овощных консервов явно не первой свежести, диктофон. Мы слушаем запись его интервью, данного корреспонденту радио «Свобода», для него важна реакция слушателей. Речь – об антисемитизме, о литературных и прочих охотнорядцах. Отец, по его словам, – из семьи потомственных французских ювелиров, евреев. Чем не повод, чтобы причислить их отпрыска к безродным космополитам? И причислили! И в этом качестве «размазывали по стенке». Недаром теперь он проходит мимо одного из своих бывших гонителей Александра Чаковского, не здороваясь, с каменным лицом. А спас его, как ни странно, Алексей Сурков: изъял из «дела» какие-то документы, вычеркнул из чёрного списка....

До обеда он работает, вроде бы выполняет некий правительственный заказ. В море не купается, на пляже не загорает. Иногда мы ходим с ним вдоль берега в Майори – слушать уличных музыкантов. Он ввинчивается в толпу, как штопор, слушает, сосредоточенно подобравшись:

Прыщавый гитарист навеселе,
Девчонка с бубном явно на игле,
Солист скулит, как пойманный зверёныш.
Что вы нашли в них, Александр Петрович,
Что различили в этой мутной мгле?
Таланта блёстку? Искорку тепла?
Фантазию? Иль тайное сиротство
Певца в толпе? Иль с гениями сходство,
Сознательно сгоревшими дотла?
Ах, если б так! Но всё-таки...Поют...
Да жаль, нельзя им, блудным детям солнца,
Счастливей стать от вашего червонца.
Они ведь всё равно его пропьют...

Зрелища, особенно сопряжённые с игровым азартом и риском , обыкновенным и творческим, бокс, гонки по вертикальной стене, полёты под куполом цирка, акробатика, бильярд, рулетка в казино – всё это органично входит в поэтическую систему Мастера. Уподобление поэта хоккеисту, вколачиваемому в бортик площадки, – характерная для него метафора. Игра понимается им в шиллеровском смысле, как «характеристика существа человеческого», а также как альтернатива демагогии, официализации всех форм общежития, диктатуре ханжества, как прорыв к свободе.
Читаем у Виктора Конецкого в «Солёных брызгах» характеристику одного из персонажей: «Игрок.Настоящий. Вечный Игрок. Я знаю ещё только одного такого Вечного Игрока – поэта Александра Межирова. Оба могут играть во что угодно, оба всегда по абсолютному счёту в выигрыше, оба превосходно владеют собой во время игры – и при проигрыше, и при выигрыше. Оба безжалостны к партнёру и всегда играют красиво...»
У кромки моря на песке расписывают «пулю» здоровенные парни, по виду – рэкетиры, с золотыми цепями на бычьих шеях. Один из них собирается уходить – срочные дела. Межиров смиренно наблюдает за игроками. «Дед, играешь? Деньги есть? Садись!» Знали бы, с кем связались...Через некоторое время А.П. с оттопыренными карманами движется по направлению к Дому творчества. За ним – двухметровый амбал: «Дед, научи! Я заплачу». – «Эх, милый! Да разве этому можно научить? Это – от Бога»...
А вот эти его строки – явно о себе: «Вскоре сделался он игроком настоящим, а это – многократно усиленный образ поэта». Две страсти владелют им – Игра и Поэзия, что по сути одно и то же. Он творец мифа, главным героем которого сам и является: успешный игрок не нуждается в литературных гонорарах.
Однажды сообщает: «Исчез стимул к работе: Аня выходит замуж за миллионера. Пора закрывать лавочку». Может быть, по своему обыкновению, блефует? А как же передача радиостанции «Свобода», которую я слышал недавно, что называется, своими ушами, - «Александр Межиров – отец русского бильярда»?

Когда, между прочим, Аня отправлялась в Америку, он попросил своего двоюродного брата Эрнста Неизвестного (ничего себе родство!), живущего в США, поддержать её там хотя бы на первых порах, помочь с устройством на работу. Так вот это, конечно же, Чудовище практически ей ничем не помогло! Кстати, задача для филологов. Дано – брат и сестра. Фамилия брата (отца А.П.) – Межиров, сестры (матери Эрнста) – Дижур. Что сие может означать?

...Неизбежный вопрос о стихотворении «Коммунисты, вперёд!» Ответ: «Мне вручили партбилет перед атакой. Из неё не вернулись более половины моих однополчан. Сдать партбилет, как это делают теперь многие, значило бы – предать память о них. Никакой я, конечно не коммунист, но «корочку» эту храню»...

Вот он, невысокий, целеустремлённый, решительный, движется к обеденному столику, немного наклонясь вперёд и раскачиваясь. Ест по солдатской привычке очень быстро. Вспоминает: «Сидя в в синявинских болотах, мы голодали. Набрели однажды на склад, в котором хранились дамские ридикюли. Варили из них похлёбку. Все зубы шатались...» «Марк, – говорит, – вечером прошу ко мне. Я бы Вас не утруждал, но самому пить нельзя – это пьянство». – «Да я вообще-то, Александр Петрович, небольшой любитель». – «Ничего! Я буду вашим тренером». У него формула: 200+50 на брата. По 200 наливает сразу в гранёные стаканы твёрдой рукой. Выпить следует быстро, залпом. Водка местная, гнусная. Если бы знать наперёд, что прийдётся застольничать с классиком, можно было бы привезти из Украины и что-нибудь более привлекательное. Сперва закусывали бутербродами из буфета. Но однажды мэтр изрёк: «Не стоит – к ним. Это хаза!» Держится неприступно, независимо, избегая не интересных ему и обременительных знакомств. Иногда ходит в гости к Михаилу Таничу, отдыхающему где-то поблизости. Со слов Танича сообщает, что рядом, в военном, кажется, санатории, пребывает Борис Николаевич Ельцин, успешно совмещающий пляжный волейбол с умеренными запоями. Вдова одного прежде известного критика жалуется: «Почему-то Саша меня не замечает, не здоровается. А ведь бывал у нас дома, покойный муж о нём писал. При том - благожелательно». Спрашиваю А.П. – почему? Ответ: «Избегаю общения с профессиональными неудачниками. Вы разве не знаете, что неудачливость заразна?». Через неделю у вдовы в рижском супермаркете «уводят» сумочку со всей наличностью, документами и авиационными билетами (она – с девушкой-внучкой). «Этого следовало ожидать, – вздыхает Межиров. – Но это что...Когда-то данное семейство проживало в Харькове, и там у них крысы загрызли младенца»...
В своих предположениях и прогнозах он по большей части бывает прав.
«А знаете, Марк, ведь лет этак через пять вы будете в Израиле». А я тогда и не помышлял об этом. И что же? Оказался в Израиле. Ровно через пять лет...
Когда привозили кино, билеты следовало покупать заранее, хотя название фильма не всегда было известно. Я обычно покупал три билета, для себя, жены и А.П. По его просьбе – места у прохода. По первым кадрам мэтр безошибочно угадывал уровень фильма и в большинстве случаев почти сразу после начала сеанса покидал кинозал. Очень любил «Апокалипсис» Копполы и «Человека дождя» Левинсона.
Он любил Рижское взморье, мечтал приобрести здесь жильё. А тут как раз возникла возможность обменять московскую квартиру его престарелой тёщи на аналогичную – в Юрмале. Тем более, что местные власти, обычно не приветствовавшие подобные

операции, из уважения к Мастеру обмен разрешили. Вот мы и мотались с ним – я и жена – в качестве советчиков-оценщиков в поисках подходящего варианта, и совсем уж, кажется, дело сладилось, да вдруг пришло сообщение о том, что тёща, увы, умерла, и, стало быть, теперь квартира её – собственность Моссовета...

Две книги с его дарственными надписями и рукописными исправлениями мне особенно дороги – «Бормотуха» и «Проза в стихах», удостоенная Государственной премии СССР. Здесь в попытке «стереть со лба отметину двоякого изгойства» он пишет о русских и евреях:

Они всегда, как в зеркале, друг в друге
Отражены. И друг от друга прочь
Бегут. И возвращаются в испуге,
Которого не в силах превозмочь.
Единые и в святости, и в свинстве,
Не могут друг без друга там и тут
И в непреодолимом двуединстве
Друг друга прославляют и клянут.

Впрямую атакует «низы элиты» и толпу «охотнорядцев», которые под знаменем возрождения русской национальной и религиозной идеи исповедуют и проповедуют антисемитизм.

Там лейб-маляр, плутишка лупоглазый,
Бросал на холст валютные размазы,
В один сеанс писал хозяйке хазы
Почти что византийские глаза.

Понятно, что речь здесь не только и не столько об Илье Глазунове, но о явлении в целом. При этом поэт, отлично понимая, что «низы элиты» не останутся в долгу и расквитаются с ним сполна, обращаясь к Москве, городу в равной степени родному и ненавистному, чьи телефонные будки «пролетарской мочою разят», тем не менее заявляет:

Никогда никуда не отбуду,
Если даже, в грехах обвиня,
Ты ославишь меня, как Иуду,
И без крова оставишь меня.

Но на сей раз, подобно Бродскому, обещавшему умереть на Васильевском острове, он оказался плохим пророком: через три года эмигрировал в США.
Увы, американский период его творчества не оказался плодотворным. Примерно в 2002 году я позвонил ему в Портленд, где он тогда обитал. Александр Петрович заикался (следствие фронтовой контузии) больше, чем обычно, производил впечатление человека подавленного и беспомощного, наводил на мысль, что ещё накануне его физической кончины можно уже говорить о нём в прошедшем времени.

Александр Петрович Межиров
Не датировал стихи,
Тасовал-перетасовывал
Имена и времена.
Сколько в жизни понамешано,
Понимают игроки,
То есть те, чья суть кромешная –
Их беда, а не вина.

Александр Петрович Межиров
(с этой темы не свернём)
Понимал игры изменчивость
На коне и под конём,
Получал тычки и премии,
Не сгибался под огнём.
Говорить в прошедшем времени
Мне мучительно о нём.

Коль к судьбе твоей по-доброму
Отнеслись и книжный том
Стал души твоей подобием,
Так спасибо и на том.
А любовь и боль треклятую,
Не сравнимую ни с чем,
Календарной метить датою -
Не с руки.
Да и зачем?

Он был поэтом живым, мятущимся, «болевым», безжалостным по отношению к окружающим, но прежде всего – к себе. Его пародоксы – «О, какими были б мы счастливыми,// если б нас убили на войне!», «Почётная профессия – мошенник», «Стихотворцы обоймы военной// не писали стихов о войне...//Мы писали о жизни – о жизни! – не делимой на мир и войну» и пр. – реальнее самой реальности.
Он был безудержно смел и бескомпромиссен в прямых высказываниях – «Артиллерия бьёт по своим».
В стихотворении «Шахматист» он пишет о поэте Владимире Мощенко и в то же время, конечно же, о самом себе:

Ну а Мощенко видит поля
И с полей на поля переходы,
Абсолютно пригодные для
Одинокой и гордой свободы.

В стихах Межирова настроение не декларируется, но рождается из его фирменной интонации, ритма, «незаёмного звука», несомненной подлинности переживания:

У человека
В середине века
Болит висок и дёргается веко.
Но он промежду тем прожекты строит,
Всё замечает, обличает, кроет,
Рвёт на ходу подмётки, землю роет,
И только иногда в ночную тьму,
Все двери заперев, по-волчьи воет.

Но этот вой не слышен никому.

В том-то и дело, дорогой Александр Петрович, что всё-таки – слышен.
После наших с Вами бесед Вы частенько напоминали: «Записывайте, Марк. Записывайте! Когда-нибудь пригодится!» И я послушно записывал. Только – зачем? И так всё помню.

Девочка-заяц. СОФЬЯ БОГАТЫРЁВА

В своих знаменитых «Воспоминаниях» Надежда Яковлевна Мандельштам пишет: «Раз мы сидели у Шкловских, пришёл Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка «Заяц»; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шёл по улице, посвистывая, как ни в чём не бывало, и нёс всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось и он не собирался спрятать у себя на квартире страшных государственных преступников – меня и О.М. ... так же спокойно он взял ... рукописи О.М. и сохранил их».
Заяц – детское семейное прозвище Сони Ивич. Псевдоним отца стал её фамилией. Алксандр Ивич (Игнатий Игнатьевич Бернштейн) был профессиональным критиком, литературоведом, прозаиком, очеркистом, автором научно-художественных книг. Во время войны служил военным корреспондентом в лётных частях Черноморского флота в звании майора, имел боевые награды. Что не помешало власть предержащим в конце 40-ых объявить его «безродным космополитом» и лишить средств к существованию. А что приключилось бы с ним и его семьёй, если бы стало известно, что у него в квартире хранятся архивные материалы О.Мандельштама, Вл. Ходасевича и ряда других запрещённых писателей, даже страшно подумать.
Когда я впервые читал «Воспоминания» Н.Я. Мандельштам, девочка-Заяц как-то незаметно скользнула по периферии моего сознания и уж точно никак не связалась с Софьей Игнатьевной Богатырёвой, многие годы редактировавшей мои стихотворные подборки в журнале «Пионер». Хотя знал я, что Софья Игнатьевна – дочь Ивича. Понимал и то, что Богатырёва она по мужу. Но не думал, что муж её – это знаменитый переводчик Константин Богатырёв, тот самый, которого убили на пороге писательского дома в 1976 году, и при этом киллеров, естественно, не обнаружили. Тот, который, ещё будучи студентом, по доносу сексота был арестован и приговорён к смертной казни (позднее приговор был смягчён – «всего» 25 лет лишения свободы; в 1956 году Богатырёв был реабилитирован). Из уст в уста передавались слова, сказанные на его похоронах

Владимиром Войновичем: «Смертный приговор, который ему вынесли при Сталине, привели-таки в исполнение».
Во время моих нечастых наездов в Москву Софья Игнатьевна, красивая, статная, всегда со вкусом одетая, в своём кабинете в редакции «Пионера» встречала меня с неизменной приветливостью, но в её взгляде постоянно прочитывались затаённые горечь и тревога. При том, что стихи мои регулярно появлялись на страницах журнала. Теперь-то всё разъяснилось. «...Я не рассказывала Вам, – пишет она в своём недавнем письме, – о скандалах, происходивших после каждой Вашей публикации за закрытыми дверьми кабинета нашего шефа (редактора «Пионера» Станислава Фурина – **М.В**.). Он не был антисемитом, он просил меня «понимать ситуацию», ему самому чистили морду в ЦК, что ему оставалось, как не проделывать то же со мной?»
И я, как выяснилось, не был исключением. В числе нежелательных оказывались и более именитые авторы – Борис Слуцкий, Борис Заходер, Александр Кушнер, и даже – поверите ли? – Борис Пастернак! «Даже школьники с «сомнительными» фамилиями, – замечает Софья Игнатьевна, – появлялись на страницах журнала реже, чем мне хотелось бы... Но будем справедливы: всё-таки появлялись! Фурин вёл себя по тем временам пристойно... Конечно, пил, как вся подобная публика. Спьяну повторял шёпотом: «Я твоё досье видел – и , на мгновение трезвея. – Так совпало». Когда в начале Горбачёвской эры он выбросился на асфальт из окна своего кабинета на 11-ом этаже, я его искренне жалела. Профессиональным журналистским чутьём он понял, что время его и подобных ему подходит к концу, а в другом времени места ему не найдётся».
Авторитет Богатырёвой – редактора в литературных и издательских кругах был исключительно высок. Автор, опубликовавший стихотворный разворот у неё в «Пионере», мог смело рассчитывать на издание своей книги в «Детской литературе». Успехи и неудачи «своих» авторов она неизменно принимала близко к сердцу. Помню, получил я от неё письмо с требованием немедленно послать свои детские книги на какой-то литературный конкурс. Дескать, с одним из его устроителей она уже обо мне говорила. Вопрос: для чего это ей было нужно? Или – впервые прочла в рукописи стихи юной Марины Бородицкой после того, как Марина уже покинула отдел поэзии. И что же? Стремглав помчалась вниз с 11-го этажа, чтобы догнать нового, никому не известного автора и выразить ему своё восхищение. А как радовалась, пробив очередную подборку, считавшуюся непроходимой!
После краха советской империи моё общение с Софьей Игнатьевной прервалось на долгие годы. И вдруг недавно с радостью обнаруживаю в американском журнале на русском языке «Время и место» отрывок из её мемуаров под названием «Как хорошо уметь читать!». В июле 41-го года в числе других писательских детей девочку-Зайца эвакуировали в Татарию, в Берсут, и определили в интернат. «Домашнее» дитя впервые в жизни лишилось родительской опеки. Тонула в Каме, из воды её вытащил Тимур Гайдар. По прибытии мамы и бабушки стала жить с ними в Чистополе, поступила в первый класс местной школы.
Однажды в их дом является странный, ни на кого не похожий человек. Мама показывает ему привезённую ею из Москвы пишущую машинку, отчего «гость приходит в неописуемый, какой-то детский восторг» и определённо нравится девочке. «Он не говорит, а гудит, слегка даже захлёбываясь: про пьесу, про машинку...Он выкладывает на кухонный стол газетный свёрток, порывшись, извлекает оттуда стопку листков, покрытых крупной летящей вязью, просит их отпечатать...» Внезапно замечает девочку и

спрашивает, как её зовут. «...Никто никогда не зовёт меня Соней – только Зайцем или Зайкой. Мне кажется, что «Заяц» звучит солиднее, вроде имени-отчества у старших, так и представляюсь гостю. Он не переспрашивает, не выказывает удивления, он, как взрослой, пожимает мне руку и говорит: «Рад с тобой познакомиться, Заяц»...
«До листков, оставленных им, дотрагиваться не велено, но о тех, которые выскакивают из-под быстрых маминых пальцев, речи не было. Улучив момент, когда в комнате никого нет, беру верхний... и в тот же миг в моём сознании возникают две реплики:

Ей нет ещё четырнадцати лет.

В Вероне есть и матери моложе.

...Лишь мгновение спустя догадываюсь, что я ПРОЧИТАЛА их!.. «Ромео и Джульетта» в переводе Бориса Пастернака стала первой книгой – точнее машинописью, которую я прочитала самостоятельно».Надеялась на счастливый конец. «Нет, всё кончилось плохо. Проплакала невесть сколько времени...
Когда Пастернак появился у нас снова, взамен «здрасьте» я сообщила ему укоризненно:

Нет повести печальнее на свете,

Чем повесть о Ромео и Джульетте,

На что он улыбнулся, выставив свои смешные зубы, но и вздохнул, как показалось мне, виновато».
История эта имела продолжение. Дело в том, что муж Софьи Игнатьевны Константин Богатырёв не только тесно общался с Борисом Леонидовичем, но своё восхищение им, по её словам, «возгонял до космических высот». 21 марта 1960 года, за 70 дней до смерти поэта, супруги Богатырёвы были приглашены на завтрак к Ольге Всеволодовне Ивинской. Пастернак был оживлён, по сравнению с чистопольскими временами «необыкновенно красив». Намерение англичан перевести и издать его ранние вещи комментировал с иронией: «Это ведь читать нельзя, это – не для людей! Это для рыб. Для аквариума». С ним происходило то, что Л.Я Гинзбург назвала «отречением от дара неимоверных сочетаний, от чуда «Сестры моей – жизни», где всё замещает и объясняет всё».
Не успели Богатырёвы возвратиться домой, зазвонил телефон, и трубка заговорила голосом Пастернака : «Костя, лицо вашей жены кажется мне знакомым. Я ведь видел её? Ребёнком? В Чистополе? Её называли тогда...» – «Зайка» – «Заяц» – поправил Пастернак...
В 1944 году в Ташкенте Надежда Яковлевна Мандельштам почувствовала, что за ней следят. Нужно было спасать рукописи Осипа Эмильевича. Анна Андреевна Ахматова привезла в Москву папку с его стихами. В течение двух лет она хранилась у Эммы Герштейн, после чего была передана Александру Ивичу. Надежда Яковлевна, приезжая в Москву, посещала дом Ивичей, где хранился архив её мужа, дополняла его, восстанавливая по памяти варианты, утверждая окончательный текст. Она была уверена, что не доживёт до того времени, когда имя Осипа Эмильевича будет свободно произноситься в СССР. И Александр Ивич не доживёт, тем более его старший брат, профессор университета Сергей Бернштейн, в библиотеке которого под обложками «Вопросов ленинизма» и учебников диамата хранились «Воронежские стихи» Мандельштама, письма Пастернака, книги с его автографами и продукция самиздата. «А вот она доживёт, – тихо проговорила, глядя на Соню, Надежда Мандельштам и, подумав, уточнила: – Может дожить».
Это было одно из первых после смерти Сталина появлений Надежды Яковлевны в доме Ивичей... В тот же день молодая девушка Соня Ивич, будущий филолог и литературовед, получила следующее письмо:

Уважаемая Софья Игнатьевна!
В Ваших руках находится единственный проверенный и расположенный в правильном порядке экземпляр стихов моего мужа. Я надеюсь, что после моей смерти, Вам когда-нибудь придётся ими распоряжаться. Я хотела бы, чтобы Вы считали себя полной собственницей их, как если бы вы были моей дочерью или родственницей. Я хочу, чтобы за Вами было закреплено это право.
Надежда Мандельштам
9 августа 1954 года.
Глядя девушке прямо в глаза и указывая на папку со стихами мужа, героическая вдова гениального поэта отчеканила: «Берегите их, девочка-Заяц!»...

Ещё в «пионерские» времена Софья Игнатьевна стала публиковать материалы из отцовского «спецхрана», а также свои комментарии, воспоминания и эссе, связанные с ними, за рубежом, а с наступлением «гласности» – и в России. Стали приходить приглашения из университетов США и Европы. «Я и оглянуться не успела, как стала профессором русской литературы в Америке, – признаётся она. – Поначалу летала взад-вперёд через океан. А потом и муж стал работать в США (профессор Юрий Васильевич Езепчук, молекулярный биолог – **М.В**.)» Так получилось, что уже 15 лет, сохранив российское гражданство, С.И.Богатырёва живёт в Америке. Нынче – в Денвере, столице штата Колорадо.
О ней пишут: эта женщина, рискуя попасть в ГУЛАГ, сохранила стихи опального поэта. Называют любимицей Ахматовой, музой Бродского... Утверждение насчёт Ахматовой она считает преувеличением, хотя о встречах с ней написала. Того, что Бродский посвящал ей стихи, не отрицает, об отношениях с ним умалчивает. Что же касается стихов Мандельштама и других, еще не опубликованных материалов из архива отца, то – по ее словам – «это не только драгоценное воспоминание детства и юности, но ответственность и работа на всю оставшуюся жизнь»

Марк Вейцман *- поэт, прозаик, эссеист. В 1966 году его стихотворная подборка, подвёрстанная к "Бабьему яру" Анатолия Кузнецова, была опубликована в журнале "Юность". С этого момента он и начинает отсчёт своих литературных занятий. Родился и вырос в Киеве. Окончил физико-математический факультет Черкасского пединститута и Литинститут им.Горького. Преподавал физику. Автор 13 стихотворных книг (в том числе для детей и подростков), увидевших свет в Москве, Киеве и Иерусалиме, и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат нескольких литературных премий.*
Член Федерации писателей Израиля, куда репатриировался в 1996 году, и Международного ПЕН-центра.
Недавняя книга Марка Вейцмана "Следы пребывания" удостоена премии русскоязычного Союза писателей Израиля им. Давида Самойлова как лучшая поэтическая книга года (2012-го) на русском языке.

РОМАН СОЛОДОВ

БОГ ДЕРЖАЛ НАД НИМ РУКИ

Димо́на – город в Израиле, расположенный в пустыне Негев, в 36 км к юго-востоку от Беэр-Шевы. Завод «Вишей», расположенный здесь, по праву считается одним из флагманов мировой электронной индустрии. На нем работают многие репатрианты из бывшего СССР. Но далеко не все они знают биографию родившегося в Гродно Феликса Зандмана, создавшего ставшее знаменитым предприятие. Наверняка не знают этого и читатели нашего журнала, живущие в Америке и других странах. А между тем судьба этого человека поистине уникальна.

Его уже нет среди нас. Феликс Зандман ушел из жизни в 2011 году, прожив 84 года. Его имя навсегда вошло в историю создания современных средств коммуникации. Благодаря этому изобретателю мы пользуемся сегодня мобильниками, а фраза «я позвоню тебе из леса» воспринимается сегодня совершенного нормально. Президент Буш, вручая ему Почетную медаль за успехи в электронике, сказал, что вклад изобретателя в развитие современных средств связи поистине огромен.

Феликса Зандмана могли убить бессчетное количество раз, начиная с июня 1941 года и до середины1944-го. Только за то, что он был евреем. Но он скромно говорил, что избежал смерти только восемь раз, когда ощущал ее дыхание.

Его детство проходило в Гродно, который в то время был польским городом, потом после «Освободительного» похода Красной армии стал белорусским, а на следующий день после начала ВОВ был оккупирован немцами. До войны Феликса часто избивали польские школьники, потому что еврей. Антисемитизм в Польше был на высоком уровне. Но все же евреев не убивали. Однако с приходом немцев наступила катастрофа, и от 29 тысяч евреев этого города к моменту его освобождения Советской армией осталось сто человек. Включая Феликса Зандмана.

До этого произошло событие, не отмеченное ни в каких хрониках, в силу его малой значимости. Одна из прислуг в богатом доме Зандманов Анна Пухальская – да будет благословенна ее память – обратилась к бабушке Феликса с просьбой о помощи. Она рожала, возникли осложнения. Бабушка вошла в положение – определила Анну в роддом, оплатила лечение (роды прошли успешно), и поселила всю семью в одном из дачных домиков за городом. И еще подарила пять злотых. Не знаю, насколько значительна была сумма в те времена, но она запомнилась Феликсу.

Феликса поймали и держали в синагоге вместе с многими евреями. Каждый день оттуда уводили людей на расстрел. Он говорил потом, что чувство вины перед убитыми сопровождает его всю жизнь. Ему удалось убежать. Он вернулся в родное жилище. Однажды уходил от немцев по подвалу своего дома, зная, что выхода нет, и приготовился к смерти, но чудо спасло его: кто-то выломал с внешней стороны стену и унес все из тайника, в котором они прятали одежду и еду. Вместо глухой стены он увидел отверстие, в которое смог пролезть и спастись от очередной облавы.

Потом Зандманы оборудовали убежище на чердаке. Заперли его снаружи, но малолетних детей взять с собой не могли. Знали наверняка, что малыши своим плачем привлекут внимание немцев. Детей было трое, их матери сходили с ума от того, что оставляют их на смерть. И тогда дедушка Феликса остался с ними, чтобы детям не было так страшно, когда их заберут. Он мог уйти в убежище, но выбрал смерть вместе со своими внуками. Зандман потом говорил, что он на всю жизнь запомнил запах щеки деда, когда, прощаясь, поцеловал его.
Деда и детей забрали в тот же день и увезли в один из лагерей уничтожения.
Феликс спустился по водосточной трубе, не в силах выносить страдания близких. Сил подняться назад у него уже не было. Он нашел какое-то пристанище на стороне. Семейный схрон был раскрыт, все родственники попали в гетто, все погибли, когда гетто было ликвидировано. А подросток ушел из города и пришел к Анне Пухальской, которая продолжала жить в бабушкином дачном домике со своими пятью детьми и мужем Яном.
Он попросил у нее еды и убежища на один только день. Потом он уйдет. Он знал, что ожидало семью за укрывательство евреев. Но Анна ответила ему, что его послал им Бог. Она выжила благодаря его бабушке, она получила жилье, и он будет здесь до тех пор, пока все это не закончится. “А как же ваши дети?” Они разделят нашу судьбу, ответила Анна.
Потом, когда кто-то задал ему вопрос в присутствии дочерей Анны (это было уже в восьмидесятых, во время их встречи), сделал бы он то же самое, приди к нему Анна? Будь я одинок, наверное, поступил так же, но с пятью детьми – нет. Слезы текли по его щекам. Сестры (он этим католичкам стал еврейским братом), сидя рядом с ним на диване, держали его за руки. Мы – одно целое, сказала одна из них.
Забегая вперед, можно добавить, что внук Анны Пухальской является вице-президентом компании Зандмана.
В итоге их оказалось пятеро в яме размером 1.5х1.7 метра и высотой в метр двадцать. Он, его дядя, семейная пара совсем молодых ребят, и женщина, которую выкинули из семьи мужа за ее национальность («благородные» люди – не сдали немцам). Раз в день Анна или Ян приносили им еду и поднимали наверх ведро с нечистотами. Соседи Анны стали поговаривать, что она закупает слишком много хлеба, у нее маленькая семья, зачем ей столько. Уж не укрывает ли она евреев? Приходилось ловчить, покупать хлеб на стороне… Она ангел, говорил Зандман. Так обычные люди не поступают...
Многие хотят быть героями, но большинство предпочтет заплатить за это не очень большую цену. Пухальские заплатили самую высокую. Они ходили по острию ножа полтора года, но не дрогнули.

Пять человек в крошечном убежище. Как не сойти с ума в этих условиях? И тот тут на высоте оказался дядя Феликса Сендер Фрейдкович, который установил жесткие правила, благодаря которым они и выжили в течение 17 месяцев. Почти полтора года! Вот эти правила: каждые два часа меняться местами – четверо лежат, один (одна) сидит на поганом ведре. Единожды в день каждый раз другой человек делит пищу на пять частей и забирает свою долю последним. Все достаточно молоды – но никакого секса быть не может. Иначе они погибнут. И еще: Феликс будет учиться.
И подросток учился. Уже тогда дядя понял, что имеет дело с высокоталантливым учеником. Математика, физика – все давалось парню легко. Дядя писал уравнение –

мальчик почти сразу выдавал устный ответ. Как потом говорил сам Феликс, все его патенты, открытия, будущие учебники начались в этом яме.
Однажды пришел немец с собакой, та сразу же учуяла запах людей и пошла к люку. Анна незаметно высыпала у нее перед носом перец, и собака отошла. Но она же стала обходить дом с другой стороны и наткнулась на собаку Пухальских. Псы обнюхались, и немец увел собаку. Смерть снова миновала….

А потом наступил главный момент, когда все могло оборваться. Фронт пришел летом 1944 года. Как раз это место немцы превратили в мощный укрепрайон. И стали выселять всех жителей. Анна кричала, что их выселяют, что они не хотят!.. И узники ее услышали. Они просидели два дня без еды, без воды, с переполненным поганым ведром, и ночью стали уходить из этого дома. Патруль их сцапал через двадцать метров. Кто такие, откуда? Бежим от большевиков, живем за три километра отсюда… Ночь спасла их, не разглядели немцы, в каком виде стояли перед ним евреи. Отпустили…

А дальше, после освобождения, начался новый период жизни Феликса.
Он закончил школу в Гданьске, пройдя три класса за год. Но Польша превратилась для Феликса в кладбище почти всех его родных. Он уехал во Францию в 1946 году.
Потом он признавался, каким потрясением было для него увидеть целующуюся на улице Парижа парочку. Он ощутил нечто неизведанное, совсем ему незнакомое – атмосферу свободы, которую никогда прежде не ощущал. Практически не зная французского, он поступил в университет в Нанси, выучил язык и закончил учебу в 1949 году, получив звание «Студент века».
Диссертацию защитил в Сорбонне, разработав новый метод и уникальную технологию измерения напряжений. Тогда же начался этап изобретательства. Феликс получил патент на нахождение слабого места в конструкции деталей. Он придумал покрывать металл специальным, изобретенным им составом и создал оптический прибор, позволяющий сразу же определять слабое место в конструкции.
Когда фирмы стали переходить на алюминиевые блоки в автомобильных двигателях, у них ничего не получалось. Эти блоки выходили из строя на трассах. В лабораториях они проходили испытания, а на трассе ломались. Два года бились инженеры и конструкторы над этой проблемой. Зандман решил ее в два дня!
Его имя становилось известным. Он был награжден высшей наградой Франции став Рыцарем Почетного Легиона. Но главное его открытие было впереди.

Он переехал в США и начал работать в одной из компаний, когда его осенило, как можно увеличить величину сопротивления, не увеличивая его размеров. Он записал свою мысль на… да, да! На салфетке, которая столько раз использовалась гениями и жизни и в кино. Но в отличие от легенд, эта салфетка материальна, ее можно видеть под стеклом в музее Смитсониевского института. Она «стоит» 350 миллионов долларов. Во столько было оценено промышленностью изобретение Зандмана.
Вот суть его в двух словах: чтобы увеличить величину сопротивления в цепи и тем самым добиться большего падения напряжения, надо увеличить размер сопротивления. А если в это сопротивление на пути прохождения тока поставить пластины, которые заставят ток их огибать? Тогда разница потенциалов будет значительно большей при тех же размерах сопротивления. Так родился «Вишей»! Компания, чьи заводы сегодня разбросаны по

всему миру, компания входящая в десятку крупнейших компаний США, чей оборот миллиарды долларов. Вишей, это местечко в Литве, откуда родом была бабушка Зандмана. Там до войны было много евреев. Теперь их там нет. Во время немецкой оккупации литовцы в этом местечке убили их всех.
На идее Зандмана были создан прецизионный тонкопленочный резистор, миниатюрные конденсаторы, без которых сегодня невозможно представить себе работу персональных компьютеров, электронных систем, которыми начинены самолеты и ракеты… В каждом мобильнике находятся сегодня детали, созданные на заводах Зандмана.
Отдельного разговора заслуживает создание завода «Вишей» в Израиле. Все компаньоны и друзья отговаривали Феликса от этого проекта: завод в пустыне? Ты сошел с ума! Кто туда поедет? А ты знаешь, что такое еврейская бюрократия? Но Зандман верил в успех. Помимо того, что он уже был мультимиллионер, он стал известен тем, что безвозмездно принял участие в доработке пушки танка «Меркава», что позволило сделать ее намного более точным оружием в борьбе с танками врага. Этот танк в то время был признан лучшим в мире.

Позволю себе небольшое отступление. Я работал на телевидении в Останкино в 1973 году во время войны Судного дня. Там мы получали хронику западных каналов, которая тогда была недоступна зрителям СССР. В одной из таких хроник корреспонденты показали огромное пустынное поле, на котором стояли подбитые советские танки. Это было впечатляющее зрелище! И страшное. Теперь я знаю, что большая заслуга в этом принадлежит Феликсу Зандману. «Я должен использовать каждый день для того, чтобы сделать что-то доброе для своего народа. А что такое мой народ? Это народ Израиля», – говорил он.

По приезде в Израиль Зандман натолкнулся на израильских бюрократов, которые везде одинаковы. «Приходите через три недели», – сказал ему высокопоставленный чиновник в министерстве, которым руководил легендарный Шарон. Вскоре в его кабинет вошел министр. И сказал, что документы должны быть готовы не через три недели, а через полчаса. Он только тогда пойдет домой, когда подпишет их. И на завтра Зандман получил все необходимые бумаги...
Сегодня на заводе в Димоне работают 2200 человек. Возглавляют этот филиал его сын вместе с зятем, которые унаследовали дело их великого отца. Дочь Зандмана, врач, приехала в Израиль во время войны Судного дня, чтобы помочь своему народу и осталась там жить.

…В 1964 году на австрийской границе таможенники задержали человека, который показался им подозрительным. Их подозрения были не беспочвенны. Задержанным оказался Курт Визе, бывший глава гестапо в Гродно. Тот самый Визе, который отдавал приказы о расстреле несчастных, депортации их в лагеря смерти, а многих убивал собственноручно. Зандман выступал свидетелем по делу Визе, и, по его словам, ему удалось заглянуть в глаза гестаповцу. И он увидел мерзавца, мелкую тварь, трусливого лгуна, неспособного ответить за свои преступления. Он понял, какие метаморфозы происходят с ничтожеством, когда оно получает в руки оружие и власть. Зандман говорил, что Визе до этого процесса снился ему каждую ночь! Все двадцать лет! После того, как

он заглянул ему в глаза, все прошло. Ни разу больше у него не было ночного кошмара. Он избавился от этого.

Вершиной своей блестящей карьеры Зандман считает покупку предприятия, которое было символом технической мощи Третьего рейха. Речь идет о компании «Телефункен». Во время войны она обеспечивала связью всю военную машину Германии. В свое время она была выкуплена нацистским режимом у семейства Ратенау. Я полагаю, что именно выкуплена, потому что после войны наследники не потребовали возмещения за грабеж. А, может быть, они это возмещение получили. Так или иначе, «Телефункен» долго оставался дочерней компанией «ДаймлерБенц», когда владельцы сообщили правительству, что не могут больше содержать эту «дочку».
Зандман купил «Телефункен». Немецкое правительство буквально умоляло его сделать это, соглашаясь со всеми его условиями. Ведь речь шла о тысячах рабочих мест. Зандман сказал тогда, что он, отправляясь подписывать договор, впервые надел ермолку. Подписав бумаги, он громко восславил Всевышнего, прекрасно понимая символику этого шага. Перед его глазами проносились картины прошлого, он вспоминал весь ужас, через который прошел, он благодарил Бога за то, что тот держал над ним руки и не дал его врагам восторжествовать.
Дело было не в деньгах – он уже давно был миллиардером и человеком не первой молодости. Но он, гонимый этим народом, который уничтожил всю его семью, теперь дает работу потомкам тех, кто убивал его малолетних сестер и его деда, который повел малышей на смерть, чтобы им не было так страшно, потомкам тех, кто расстреливали его мать и отца…, потомкам тех, которые убили миллионы его соотечественников. Он дает им работу! Он кормит их. Они будут работать на него. Разве этот не прекрасная месть? Месть не через смерть, но через жизнь и работу!

В наше дни часто приходится слышать о том, что хватит говорить о Холокосте. Ну, сколько можно об одном и том же… Пора переступить через эту трагическую страницу и заняться сегодняшними проблемами. Но в том-то и дело, что от Холокоста пострадали не только евреи, но и весь мир. Еще как! Убивая евреев, нацисты наносили удар всему человечеству. Если один только Зандман изменил наш мир в области коммуникаций, то сколько таких Зандманов ушли в газовые камеры, были закопаны или сожжены заживо, не говоря уже о «просто» расстрелянных? Кто сосчитает ущерб от того, что человечество не досчиталось сотен тысяч ученых, врачей, деятелей искусства…

Феликс Зандман умер в США и похоронен в Израиле как еврей и гражданин этой страны.

Роман Солодов *– киносценарист, писатель. Член Союза кинематографистов России. В 1991 году эмигрировал в США. Получив профессию технолога по радиоизотопной медицине, проработал по этой специальности 15 лет. За это время написал несколько романов, которые изданы в Москве, рассказы, множество статей, опубликованных в русскоязычной прессе США. Живет в Нью-Джерси.*

ЛАРИСА ИЦКОВИЧ

НОВЫЕ СТИХИ

В Эдемском саду

*"И сказал Бог: вот, Я дал вам
всякую траву и всякое древо – вам сие
будет в пищу; а всем зверям земным и
всем птицам небесным и всякому гаду,
дал Я всю зелень травную в пищу..."*
Бытие, гл.1

Шестой день творенья закончился. Солнце
Хотело закатом окрасить оконца,
Но в райском саду ни окон, ни дверей
Ещё не нашлось. Только сотни зверей
Кто парой, кто стадом бродили по саду,
И были попытки пролезть за ограду.
Но райского сада законы строги:
Живи, как в раю, а сбежать не моги!

На главной поляне под яблочным древом
Сидели Адам с очень юною Евой,
Сидели и просто смотрели на небо,
Не зная хлопот и заботы о хлебе.
А с неба луна с любопытством глазела,
Как спящая живность сопела-храпела.

Наутро в Эдеме случился скандал –
От голода лев на скале подыхал,
И лил крокодил крокодиловы слёзы,
Не мог он обгладывать ветки берёзы.
Удав наглотался зелёных агав,
И мучился коликой бедный удав.
Под пальмою выли волчица и волк,
Увы, только в мясе они знали толк.
Скулили не евшие лис и лисица,
Они даже бегали к речке топиться,
А там на песочке томились лягушки,
Над ними кружились нахальные мушки,
Но райского сада законы строги:
Любуйся на них, а сожрать не моги!
Им зря соловей расточал свои трели,
Ему отвечали голодные звери,

Мол, райские песни готовы мы слушать,
Но прежде хотелось бы что-то покушать.

От сна пробудилась прекрасная Ева,
К утру не оставшись невинною девой.
В заботе о завтраке взор подняла,
Увидела яблоко и сорвала.
Чтоб муж оценил и заботу, и чувства,
Она свой шедевр поварского искусства
Омыла росой, оборвала листочки
И плод, как на стол, положила на кочку.
Адам потянулся, Адам улыбнулся,
От Евиной ласки тотчас же проснулся,
А с ним аппетит (после сладостной ночки!),
И яблоко съели они до кусочка.

И вдруг (как всегда это в жизни бывает)
Их окриком грозным Творец подзывает:
"Вы яблоко съели, запрет мой нарушив?
Я мог бы сейчас отодрать вас за уши,
Но я принимаю другое решенье,
Пусть даже в разрыве с общественным мненьем.
Досуг ли мне править вам грешные нравы,
Коль завтра найду я другие потравы?!
Законы к живущим в Эдеме строги:
Ослушаться воли Моей не моги!
А так как ещё не достроил я ад,
Ступайте-ка с глаз и покиньте Мой сад!"

Ворота эдемского сада раскрылись,
И Ева с Адамом на Землю спустились,
А следом за ними, друг друга толкая,
Рванулась к воротам голодная стая,
И вмиг опустел от зверей райский сад,
Лишь только ворота на б*о*лтах скрипят.
Творец удивился, глазам не поверив,
Печально промолвил, мол, звери есть звери,
Ворота у сада пустого закрыл,
Приставил охрану и руки умыл...

Теперь подскажите, друзья и подруги,
Каким адвокатам платить за услуги?
Представьте, вы яблоко чьё-то сжевали,
Вам сразу пожизненный срок припаяли!
А где адекватность вине наказанье?
И разве достаточно Евы признанья?

А вдруг оговор? Где дознания средства?
А где снисхожденье к персонам без детства?
На свете печальней не сыщете драмы –
Не знали семьи они, ласковой мамы,
Отец их прогнал в выражениях грубых.
А кто их воспитывал, голых и глупых?
С другой стороны, если их оправдать,
Нас нужно обратно в Эдем поселять,
И грешной Земле сделать ручкой привет.
Вам этого хочется? Мне лично – нет!

2014-й

О весне мне писать бы стихи,
Если б душу не мучили слухи,
Если б не были люди глухИ,
А порой преднамеренно глУхи,

Если б демон войны не летал,
Как стервятник, над каждою крышей,
Если б ГУГЛ мне е-мейл переслал,
Что Всевышний нас видит и слышит.

Но безмолвен Господен портал,
Равнодушны вселенские дали –
Бог затем нас из рая изгнал,
Чтоб мы сами свой мир создавали.

И твореньями хмурых дождей
Расползлись мы, буравя планету,
Наплодили бездарных вождей,
И не можем призвать их к ответу.

Кто ж покажет безумцам кулак
И лишит их воинственной прыти?
Мир в испуге! Где лом и тесак?
Буду строить для внуков укрытье.

Лариса Ицкович *родилась в 1940 году в Азербайджане, выросла на Украине, зрелые годы провела в Белоруссии. Физико-химик по специальности, до 1993 года работала преподавателем и научным сотрудником Белорусского политехнического института. С 1994 года живет в Чикаго.*
Писать стихи она стала в основном во второй половине прожитых лет. Публиковалась в американских русскоязычных газетах, в израильской газете «Еврейский камертон», в журналах «Литературный европеец» и «Мосты», Германия, в поэтических сборниках: Лариса Ицкович, Семен Ицкович. “Откровение”, Чикаго 2009; Лариса Ицкович,” Бабье лето”, Чикаго 2013. В журнале «Время и место» это ее вторая публикация.

ГЕРМАН ГЕЦЕВИЧ

Геометрия любви

Я изучил из любопытства острого
Всю геометрию локтей твоих, любовь,
По линиям Васильевского острова,
По перекресткам у Пяти углов.

Целуясь, на виду у люда честного,
Как рельсы, убегающие ввысь,
На практике освоив Лобачевского,
Мы в пункте *Л* с тобой пересеклись.

В неистовом бермудском треугольнике
Квадраты окон жаждут лишь разлук,
Но мы – конспиративные крамольники,
И наших рук не разомкнётся круг.

В кафе тоскуют рюмочки налитые,
Жаль расставаться и тебе, и мне…,
Пора домой, но ты живёшь на Лиговке,
А я – на Петроградской стороне.

У города есть тоже подноготная:
Задворки, околотки и «Кресты»…
Мы с дрожью и раздвоенностью города
Глядим на разведённые мосты.

Две точки, две фигурки незаметные,
Переступают вместе тот порог,
Где линии любви и геометрии
Изведали мы вдоль и поперёк.

Где дверью тел, распахнутых, от радости
Ночь хлопает, и рвётся напролом,
Меж ног твоих в сто восемьдесят градусов,
Сменив замок развёрнутым углом.

Вода в Неве свой повышает уровень,
Завидуя раскатанной губой,
Что в городе с его дождями хмурыми,
Углы судьбы мы сгладили с тобой.

Числа

В страшный перечень втянуты числа,
Вряд ли им неизвестно про то,

Что в и100рии было нечи100:
18, 14, 100.

Может числа забыли о чём-то,
И порядок восполнят едва
За пределами смысла и счёта:
33, 26, 42.

Числа вехами век отмечает,
Но во власти бесчисленных тем:
Мне 17 – мятеж предвещает,
Высшей мерой грозит – 37.

25 не считает потери,
30, с петлей рискуя сплести,
И, чернил не найдя в Англетере,
Пишет собственной кровью стихи.

45, возвестив о победе,
Умолчит об издержках назло,
Чтоб не знали живые побеги:
Сколько мёртвых…
Какое число…

6 и 6 тарахтят каламбурно,
Что погода теперь минус 6,
А про «Оттепель» у Эренбурга,
При желании можно прочесть.

К 19 вырастит Муза.
И, поднявшись наверх из руин,
Отрыгнётся развалом Союза –
Палиндром 91.

Настоящее, с прошлым сличая,
ИТУ растолкует опять,
Что 15 уже за плечами:
Дали 10, добавили 5.

Все грехи, хоть следов и улик нет,
Время спишет, считай: повезло,
Но по номеру душу окликнет –
Назовёт роковое число.

Нет дистанций, ранжиров, градаций
Я в кольце числовых величин…,

Где апостольское – 12
Перевёрнуто в 21.

Обои

Комната раздета догола:
Скучные, ремонтные дела,
И глядят из каждого угла,
Безнадёжно сморщившись от боли,
В завитушках грусти и вины,
Надышавшись пылью тишины,
Сорванною кожей со стены –
Под ногами смятые обои.

Помнят поимённо всех жильцов,
Знают в лица даже мертвецов,
Каждой складкой помнят, каждой порой
Тени чьей-то муки и любви,
Той любовной муки, без которой
Люди, вряд ли, могут быть людьми.

Знают всё – от запаха до цвета,
Цвет в себя все запахи впитал:
Кто курил, какие сигареты,
Кто какой лосьон предпочитал…

Не страшит их варварским набегом
Шаткая походка сквозняка,
На обои почерневшим снегом
Падает побелка с потолка.

Но обои нам не разболтают
Тайны, что незримо и легко
В их бумажных душах обитают,
В их телах хранятся глубоко.

Ночной Арбат

Белле Ахмадулиной

Ночь видит всё: лохмотья дыма,
Дома, деревья и мосты…
Её лицо неразличимо
Под чёрной маской темноты.

Факт одиночества не страшен,
А ночь – не против и не за,
Торчат из всех замочных скважин
Её кошачие глаза.

Погасший на углу бульвара,
Фонарь в кромешной чертовне,
Смуглей, чем правнук Ганнибала,
Чем тень, прижатая к стене.

И, чтобы вырваться из плена
Дорожных знаков и оград,
Ночь вынуждает непременно
Свернуть с Арбата на Арбат.

Ночь видит всё: тоску томлений,
В тисках сплошной белиберды,
И нераскрытых преступлений
Ещё горячие следы…

Ничто не выпустит из вида,
Своей Молчановкой горда,
Где переулками изрыта
Вся Поварская слобода.

В Столовом – с песенкой хвалебной
Ещё столуется судьба,
Но сердцу переулок Хлебный,
Пророчит вольные хлеба.

Я в Мерзляковском – не замёрзну,
А в Трубниковском – протрублю,
О том, что жизнь вполне серьёзно
Вполне естественно люблю.

И до земли сгибая спину,
Все строки, вспомнив наизусть,
В Борисоглебском за Марину
Борису с Глебом помолюсь.

Промчусь по Скатертному бегло,
С Медвежьим и Ножовым врозь,
А заблужусь – подскажет Белла:
«Сквозняк – навылет, двор – насквозь».

Не поздно – повернуть обратно,
Зайти к знакомым по пути,
Но катакомбами Арбата
От этой ночи не уйти.

Сквозь прорезь маски, будто Зорро,
Она взирает мне вослед,
И скрыться от такого взора
Ни шанса, ни желанья нет.

Герман Гецевич *родился в Москве, в 1961 году. Образование медицинское. С 1981 по 2010 год работал на «Скорой помощи». Служил в армии. В советские времена не публиковался ни в одном из официальных изданий. Первая публикация поэта состоялась в 1992 году, в альманахе «Стрелец», издателем которого был Александр Глезер. Впоследствии стихи Гецевича публиковали российские журналы «Юность», «Новый мир», «Дружба народов», «Смена», «Новая юность», «НЛО», «Еврейская улица»…, а также альманахи: «Ной», «Диалог», «Путь к Арарату»…Автор нескольких книг для детей. А также книг: «Имена собственные» (1995 г.), Семь (1997 г.), «Скальпель» (2000 г.), «Голос» (2009г.)*

МИХАИЛ БРИФ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Поэт
Жить не умел. Пил соки да крюшон,
а водку иль коньяк раз в год, не чаще.
Жить не умел, и многим был смешон
его апломб и взор его горящий.

Но по ночам нетленное творил,
когда пером к бумаге прикасался.
Жить не умел. Он, собственно, парил
над жизнью – и еще смешней казался.

Правительственных званий не имел.
Да и других. Зачем, скажи на милость?
Жить не умел. Зато любить умел,
как мало кто. Увы, не пригодилось.

Немота
Вот что случилось, хоть стыдно признаться в таком:
ночь напролет наблюдаю пейзаж за окном,
ночь напролет я на крюк озираюсь тайком,
водку я пить перестал и мясного не ем.
Тот, кто водил по бумаге моею рукой,
видно, устал от меня и ушел на покой –
я теперь нем.

Я теперь нем, как-то все обессмыслилось вдруг,
вскрыл себе вены и к звездам умчался мой друг,
сколь ни кричи, безысходно, безгласно вокруг,
жалобный плач мой сегодня смешон и нелеп.
Не увидать мне теперь закадычных друзей,
не увидать мне теперь Эвридики моей –
я теперь слеп.

Я теперь слеп, и зрачки мои солнце не жжет,
ближний конвой от побега в астрал стережет,
местный народец, узрев меня, радостно ржет,
больше ничто не ласкает ни душу, ни дух.
Ну-ка, скорей заливайте мне оловом рот,
уши забейте, и стану я полный урод –
я теперь глух.

Слеп я, и глух я, и нем я – такой, брат, расклад.

Мне-то известно, пред кем я виновен стократ.
Если возможно, простите, пред кем виноват.
Что тут сказать? Мой характер не сахар, не мед.

Да, ушибаюсь, упорствую, вечно спешу,
но никому свою тайну вовек не скажу:
я теперь мертв.
Я – теперь – мертв.

“Альманах библиофила”

Мне тогда семнадцать было,
собирать я книги стал,
“Альманах библиофила”
вдохновенно я листал.

Что ни выпуск – свет в окошке,
юность целую светил.
Каждый том в суперобложке
поначалу выходил.

Удивительное – рядом,
возле гения постой.
Речь со мной вели, как с братом,
Пушкин, Гоголь и Толстой.

И Твардовский, и Тарковский,
и Булгаков, и Лесков,
и Владимир Гиляровский,
и Владимир Маяковский,
и, конечно же, Чуковский,
и, конечно же, Глазков.

И другие, удалые,
чей светильник не погас,
цвет Европы и России,
коих лихо мчал Пегас.

И Цветаева Марина,
хоть могла б на жизнь пенять,
не пеняла, не корила –
век свой силилась понять.

Не найти покой Марине,
засвистала нелюдь вслед…

«Альманаха» нет в помине

и библиофилов – нет…

***

Характер-зверь у нынешней зимы,
одна лишь белизна в ее палитре,
ни крошки льда не выпросишь взаймы,
никто не похлопочет о поллитре.
У нынешней зимы характер крут,
молить у ней пощады не пристало.
Так зябок ближний лес. Так зябок пруд.
И чай остыл. И слава запоздала.

* * *

Рассвет о трудах напомнит.
Сижу, карандаш очиняю.
Я стихотворец-надомник:
в окно гляжу, сочиняю.

Исправлю в строке ошибку,
размер подберу забавный.
В окне порошат снежинки,
орет воронье за баней.

– Эх, – разорву я ворот, –
Муза моя, да где ж ты?
– Хрен тебе! – хмыкнет ворон,
круша все мои надежды.

Михаил Бриф *- поэт, прозаик, эссеист. С 1994 года живёт в Нью-Йорке. Неоднократно публиковался в периодических изданиях и альманахах бывшего СССР и США («Дружба Народов», «Смена», «Литературная Грузия», «Студенческий Меридиан», «Вестник», «Новый Журнал», «Побережье», «Встречи», «Новое Русское Слово» и др.)*
Автор поэтических книг «Високосный Век» (1991), «Галера» (2003), «Единственное Небо» (2004), «Братья Милосердия» (2006), «Предзимье» (2007).
Лауреат ряда международных поэтических конкурсов и турниров.

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

КТО МЫ ЕСТЬ? ЗА ЧТО НАМ ЭТО?

Булат Окуджава и сегодняшняя Россия

9 мая 2014-го Булату Окуджаве исполнилось бы 90 лет. Журнал “ Время и место” отметил эту дату в первом номере этого года. Тем не менее, мы считаем уместным и необходимым вновь писать о замечательном поэте и прозаике, сыгравшем огромную роль в духовном становлении поколения “шестидесятников”. Но и сегодня творчество Булата Шалвовича дает повод для разного рода сравнений, сопоставлений, выводов. Он – наш современник…

Вы – армия перед походом
в преддверии грозных атак.
Отставка вчерашним свободам!
Всё собрано в жёсткий кулак.

Б. Окуджава, 1991

Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про неё.

Б. Окуджава, 1996

Летом 1990 года Окуджава посетил Нью-Йорк. Он был тогда гостем нашей Русской школы при Норвичском университете, уютно расположившемся среди зелёных гор Вермонта. В Манхэттене Булата почему-то больше всего удивил и задел за живое

Мир компьютеров и кнопок!.. Чем же мы не угодили?
Отчего же своевременно нас не предупредили,
чтоб мы знали: что посеем, то и будем пожинать?
Отчего нас не на кнопочки учили нажимать?

Намёк прозрачен: нас всю дорогу учили нажимать не на кнопочки умных машин, а на кнопки, курки и гашетки, несущие смерть. Неисповедимы пути и причуды поэтической мысли: вид витрин с электронной техникой рождает бурный каскад новых вопросов, обращённых поэтом к читателю и к самому себе:

Кто мы есть? За что нам это? Что нас ждёт и кто поможет?
Или снова нас надежда на удачу облапошит?
Или всё же в грудь сомнений просочится тайный яд?
Или буду я, как прежде, облапошиваться рад?

Для обдумывания вопросов из стихотворения «Манхэттен» у Булата оставалось семь лет жизни. Некоторые из них были либо риторическими, либо слишком трудными и ясного

ответа не получили. Самый простой задан в конце первой строки: ***кто поможет?*** Если имеется в виду помощь *извне* – никто, и Окуджава это прекрасно понимал. Вопросом: ***за что нам это?*** станут, надо полагать, заниматься будущие поколения историков и философов. Пойдём дальше. Наглядный ответ на то, ***что нас ждёт***, даёт картина сегодняшней России, предсказанная поэтом в 91-м году:

Отставка вчерашним свободам!
Всё собрано в жёсткий кулак.

Есть тут и вопрос о ***тайном яде сомнений***, целительном веществе, которое может спасти общество от новых трагических ошибок. Просочится ли оно когда-нибудь в наши души? Или нас снова и снова будет ***облапошивать*** обманчивый мираж удачи? Вопрос этот был задан поэтом не случайно. В его сознании *яд сомнений*, освобождающий от пустых иллюзий и напрасных ожиданий, уже действовал вовсю. И отнюдь не тайным был этот яд. Он становился всё более явным, причём настолько, что, доживи Окуджава до нашего времени, он был бы, как пить дать, зачислен в ***национал-предатели*** **и** ***пятую колонну.***

Ливан или Иван?

«Запрещается распространение недостоверной информации..., умаляющей авторитет Российской империи, СССР, Российской Федерации, их Вооружённый сил», – гласит законопроект, внесённый в Госдуму депутатом от «Справедливой России» Олегом Михеевым. Его коллеги, «озабоченные уровнем любви россиян к родине, подготовили сразу несколько законодательных инициатив, предусматривающих наказание за недостаточный патриотизм».

За последнее десятилетие своей жизни Булат Шалвович написал, наговорил и напел немало такого, что – с точки зрения сегодняшней путинской власти и обслуживающих её пропагандистов – умаляет авторитет России по меньшей мере в двух её ипостасях: советской и постсоветской, сегодняшней. А также авторитет российских Вооружённых сил. Примеров – хоть отбавляй. Вот, навскидку, про российскую империю советской эпохи:

Я живу в ожидании краха,
унижений и новых утрат.
Я, рождённый в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.

Всё кончается на полуслове
раз, наверное, сорок на дню...
Я, рождённый в империи крови,
и своей-то уже не ценю.

А это – о Вооружённых силах:

Вы говорите про Ливан...
Да что уж тот Ливан, ей-богу!

Не дал бы Бог, чтобы Иван
на танке проложил дорогу.
Когда на танке он придёт,
кто знает, что ему приспичит,
куда он дула наведёт
и словно сдуру что накличет...

Так начинается стихотворение, написанное под впечатлением от разговоров с израильскими друзьями во время гастролей Окуджавы в декабре 1992 года. Речь шла об угрозах существованию этой маленькой, окружённой врагами страны, где ***кровью и порохом пахнет от близких границ***, как сказано в другом стихотворении Булата, написанном тогда же в Иерусалиме. Как видно, чаще всего упоминался Ливан, где наращивала силу и влияние коварная и агрессивная «Хезболла». С него и начал Булат свой ответ друзьям, вылившийся в стихи. А закончил он его так:

Когда бы странником – пустяк,
что за вопрос – когда б с любовью,
пусть за деньгой – уж лучше так,
а не с будёнными и с кровью.
Тем более что в сих местах
с глухих столетий и поныне –
и мирный пламень на крестах,
и звон малиновый в пустыне.
Тем более что на Святой
Земле всегда пребудут с нами
и Мандельштам, и Лев Толстой,
и Александр Сергеич сами.

Тогда, в 92-м, многим казалось, что новая Россия уже никому не угрожает. Афганская война три года как кончилась. До первой чеченской оставалось два года, и ещё никто не мог предсказать ни её, ни – тем более – вторжения в Грузию, ни бескровного блицкрига в Крыму. С чего это вдруг вздумалось поэту припугнуть своих бывших соотечественников русским Иваном на танке? Советского Союза больше нет, отменена мессианская коммунистическая доктрина, отброшены имперские амбиции. Входившие в империю республики и её сателлиты, все как один, отпущены на свободу. Кому теперь придёт в голову заняться реваншем и снова ринуться на чужие земли, да ещё ***с будёнными и кровью***?
У Окуджавы были на этот счёт свои соображения.
«Я умел не обольщаться даже в юные года», – написал он в середине 1980-х. И остался верен себе и теперь, через год после распада СССР. В ту пору у него возникла такая формула: *Советский Союз кончился, но советская власть осталась.* Это была очень трудная для него пора расставания с последними иллюзиями и обретения нового знания о своём отечестве. Именно в это время стал он расставаться и с некоторыми из облюбованных им издавна слов. И прежде всего – с пронизывающим его поэзию словом ***надежда***.

Надежды маленький оркестрик

Он уверенно звучал у Окуджавы на протяжении 60-70-х годов, хотя и не всё в его хозяйстве было ладно: ***кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стёрт, на барабане швы разлезлись...*** Но он не замолкал, потому что этот поизносившийся оркестрик был в ***сговоре с людьми***, современниками и единомышленниками поэта, романтиками-шестидесятниками, упорно верившими в чудо - в то, что стоит лишь избавиться от ненавистного дряхлеющего режима, как страна оживёт, встрепенётся и тут же начнёт обустраивать свободную и нормальную жизнь.

В 80-е годы манящий голос надежды зазвучал глуше. Я ощутил это, занимаясь составлением второго сборника окуджавских песен, который вышел в «Ардисе» в 1986 году. В предисловии к нему я написал, что слово «надежда» было – до недавнего времени – «одним из наиболее заметных в поэтическом мире Окуджавы. В сознании читателя оно ассоциировалось с безусловным Добром, с тем немногим, что помогает выстоять, для чего стоит жить. ***Не расставайтесь с надеждой, маэстро,*** – не то молил, не тог заклинал поэт, обращаясь к Моцарту, к себе, к своему поколению. Из окуджавской лирики 80-х годов слово «надежда» почти исчезло».

Это наблюдение дополнил впоследствии филолог М. И. Жук, заметивший, что «в дискурсе Окуджавы 80-х – 90-х годов» в концепт „надежда“ всё настойчивее проникает компонент *сомнение*»: «В произведениях этого времени поэт использует по отношению к слову „надежда“ такие определения, как „пустая“, „поздняя“, „бедная“, „былая“, „напрасная“, „робкая“».

Одно из таких произведений Булат сочинил в Париже в марте 1987 года. Вначале это были стихи. В мае, приехав в Вашингтон по приглашению Института русских исследований имени Джорджа Кеннана, «придумал музыку», о чём сообщил перед тем, как спеть новую песню у меня дома 18 мая в городке Оберлин (штат Огайо).

На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму.
И хочется верить ему...

Шла горбачёвская перестройка, и очень хотелось верить, что уж на этот-то раз что-то получится, что дело не кончится хилой короткой оттепелью, за которой – снова зимняя тьма. Но конец песни печален: верить-то хочется, но вдруг всё кончится, как кончалось всегда?

А если всё не так и всё как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла.
Что ж делать? Надежда была.

Булат потом заменил ***напрасные крыла*** на ***счастливые***. И выбросил второе четверостишие (***Что нужно нам с тобой? Не горы золотые, а чистые глаза и руки молодые...***). Мелодию, однако, сохранил прежнюю. Медленная, минорная, меланхоличная, она усиливает ощущение неосуществимости, безнадёжности, навеваемое последней строфой.

Та же тема – то ли верить и надеяться, то ли нет – преобладала и в наших тогдашних разговорах. «А вот интересно, если станет у нас посвободнее и начнёт меняться жизнь, кто раньше воспрянет, русские или украинцы?» – неожиданно спросил Булат, когда мы прогуливались с ним по кампусу Оберлинского колледжа. И рассказал, что в деревне Калужской области, где он преподавал в школе после фронта и Тбилисского университета, основным рационом жителей была свинина. Свиней забивали осенью. Украинцы делали из них колбасы, коптили окорока и прочие вкусности, а русские рубили туши на куски и бросали в бочки с солёной водой. «Зачем вам эта солонина сдалась, посмотрите, что ваши соседи делают!» – говорил им Булат. «Да знаем, – отвечали те. – Но… возиться неохота». «Вот такая философия!» – с горечью закончил свой рассказ Булат.

Кто мы есть?

Ни я в своём предисловии к сборнику 86-го года, ни Максим Иванович Жук в своей диссертации не вдавались в вопрос о том, что же вызвало эту нисходящую, затухающую эволюцию, выражаясь филологически, *концепта «надежда» в дискурсе Окуджавы*. Ответить на этот вопрос не так уж сложно, если присмотреться к другому процессу, который происходил тогда в сознании поэта, – к процессу постижения неприятных истин о стране, в которой ему довелось родиться и жить.

«Я и раньше знал, что общество наше деградировало, но что до такой степени — не предполагал. Есть отдельные достойные сохранившиеся люди, но что они на громадную толпу?.. Не хочется ни торопиться, ни участвовать в различных процессах, происходящих в обществе. Хочется тихо, молча, смакуя, не озираясь, не надеясь, не рассчитывая... »

Это – из его письма осени 1989-го года. Помню, что меня удивила мерцающая в этих строчках нотка безнадёжности. ***Не надеясь, не рассчитывая…*** Ещё больше удивило, можно сказать, поразило, стихотворение, *первая строфа* которого появилась в «Вечерней Москве» 4 февраля 1991 года:

Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,
и дело как будто к зиме,
и правды короткое слово
летает, как голубь во тьме.

Эти стихи, звучащие как зов трубы, как сигнал тревоги, навеяны грозными событиями 1990 – начала 1991 годов. Вот некоторые из них.
1990, январь: погромы армян в Баку. В город вводятся войска, объявлен режим чрезвычайного положения. 130 погибших, около 700 раненых.
Март: для нейтрализации сторонников выхода Литвы из состава СССР власти направляют в Вильнюс танки.
Май: столкновения в Ереване между ополченцами и частями Советской Армии, 24 погибших с армянской стороны.
Декабрь: председатель КГБ СССР Крючков выступает по телевидению с заявлением о заговоре западных стран против СССР и их намерениях добиться его распада. 20 декабря уходит в отставку министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, заявив, что в стране существует угроза установления диктаторского режима.
1991, в ночь с 12 на 13 января: штурм телевизионной башни в Вильнюсе.

Диагноз – большевизм

– Булат Шалвович, что кажется Вам самой страшной бедой нашей страны? – спросил у поэта в 1992 году журнал «Столица». Ответил он так:
– То, что мы строили противоестественное, противоречащее всем законам природы и истории общество и сами того не понимали. Более того, до сих пор по-настоящему степень этой беды мы не осознали... Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни, и пока всё это не будет у нас в крови, ничего не изменится, психология большевизма будет и дальше губить нас и наших детей. К сожалению, она слишком сильна и разрушительна и необыкновенно живуча...
Через год тема «большевизм в постсоветской России» прозвучала вновь – в интервью Андрею Крылову для газеты «Подмосковные известия» (11 декабря 1993):
– Но у нас, повторюсь, нет никакого демократического общества. У нас большевистское общество, которое вознамерилось создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено.
Серьёзность диагноза – ***у нас большевистское общество*** – усугубляется тем, что к тому времени у Окуджавы не осталось никаких иллюзий относительно истинной природы этого общества. Оно, как оказалось, мало чем отличалось от другого тоталитарного монстра XX века – фашизма.
– ...Мы и сами были не лучше фашистов. У нас был такой же фашистский режим. Но тогда я этого не понимал.
Открылось поэту и то, что его сограждане, глубоко завязшие в своём тоталитарном прошлом, могут – рано или поздно – вновь возжелать над собой вождя, диктатора, тирана:

Нашему дикому обществу нужен тиран во главе?
Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове,
в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества.
Скрыт за улыбкой умильною злобный портрет большинства...

Начальная строка этого стихотворения, опубликованного «Дружбой народов» в апрельском номере 1991 года, так и просится в пишущийся ныне путинский «единый

учебник истории». Она могла бы стать эпиграфом к разделу, посвящённому России начала XXI века, построившей властную вертикаль с фигурой сильной личности на самом её верху. Но не станет. Официальные историки даже Иосифа Виссарионовича Сталина, уничтожившего миллионы своих подданных, именуют не иначе как «эффективным менеджером». А на нынешнего его наследника взирают с обожанием снизу вверх.
Ну, а кто бы обнародовал сегодня, в разгар массовой патриотической истерии, трагическое стихотворение 1991 года, посвящённое поэту Владимиру Корнилову? Эй, кто там ещё не утратил мужества, элементарной порядочности и остатков совести?

Хрипят призывом к схватке глотки,
могилам братским нет числа,
и вздёрнутые подбородки,
и меч в руке, и жажда зла.

Победных лозунгов круженье,
самодовольством застлан свет...
А может, надобно крушенье,
чтоб не стошнило от побед?

Нам нужен шок, простой и верный,
удар по темечку лихой.
Иначе – запах ада скверный
плывёт над нашей головой.

23 июня 1995 года, стоя перед микрофоном на парижской сцене, Окуджава отвечал на вопрос о том, как он относится к войне в Чечне. Поэт назвал её страшным явлением, которое будет помниться много, много десятилетий, если не столетий... «...Этот маленький народ, в котором нет даже миллиона, – допустим, он даже очень-очень самовлюблённый и очень сложный, – всё-таки надо считаться с национальной психологией… Тем более – такого маленького народа. *(Аплодисменты*) А его в прошлом веке в течение 50 лет уничтожали… В этом веке в 44-м году выслали весь народ на гибель. И сейчас опять уничтожают. Ну что такое? Неужели российская власть не может самоутвердиться другим способом? Неужели для этого нужно убивать своих же сограждан? »
(Цитата по расшифровке фонограммы концерта в зале ЮНЕСКО, изданной впоследствии на двух CD под названием «Когда опустеет Париж».)
Окуджава не дожил до второй чеченской войны – очередного акта самоутверждения российской власти, за которым последовали грузинский поход 2008 года, крымская кампания 2014 года и засылка сепаратистов в Украину.
Милитаристский способ самоутверждения приносит, конечно, не только моральное удовлетворение, но и реальную пользу – приобретение территорий. «Широка страна моя родная» растеклась-расстелилась аж на девять временн*ы*х поясов. Неоглядное русское приволье вызывало восторг и вдохновляло многие поколения народных певцов и профессиональных поэтов. Но почему-то стало – под конец жизни – «доставать» русского поэта Булата Окуджаву: его настигла чрезвычайно редкая для российского человека болезнь — агорафобия*.

Меня удручают размеры страны проживания.
Я с детства, представьте, гордился отчизной такой.
Не знаю, как вам, но теперь мне милей и желаннее
мой дом, мои книги, и мир, и любовь, и покой.

А то ведь послушать: хмельное, орущее, дикое,
одетое в бархат и в золото, в прах и рваньё –
гордится величьем! И всё-таки слово «великое»
относится больше к размерам, чем к сути её...

Заметьте: *величием* (а на самом деле размерами!) страны в равной мере кичатся все – и верхи, и низы. Те, кто одеты ***в бархат и в золото***, и те, кто – ***в прах и рваньё***. Вывод этот легко подтверждается историей императорской России. В определённые её моменты гордость за непомерно разросшуюся державу накаляется и вскипает, превращаясь в патриотическую истерию, смешанную с ненавистью к явным или потенциальным врагам Государства. В один такой момент, в дни польского восстания 1863–1864 гг., Александр Герцен писал в своём «Колоколе»: «Дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис».

Родина померкла...
За год до кончины Окуджава написал стихотворение, в котором он размышляет о русских людях – из далёкого вчера и нынешних, сегодняшних. Звучит оно вначале тихо и проникновенно, с мягкой, певучей грустью:

Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень, и смех, и слёзы,
и горечь на устах.

Интонация первой строфы окрашивает и две последующие, но к концу четвёртой плавное течение стиха внезапно прерывается громким горестным возгласом:

Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж...
Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном — пейзаж?

Открылось за окном поэту нечто такое, что заставило его воспроизвести устрашающий образ диких скифов, привидевшийся в 1918 году Александру Блоку:

Что ж, век иной. Развенчаны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть – всё скифы, скифы, скифы.
Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,

где злоба и пальба.
И кажется, что русских больше нету,
а вместо них толпа...

«Мы больны, у нас дикое, больное общество», – не раз говорил Булат, наблюдая российскую жизнь из-за океана летом 1990 и 1992 годов. В то время теленовости из России уже можно было принимать через кружившие над планетой спутники. Окуджава и Фазиль Искандер, другой почётный гость Русской школы, ходили на ежедневные просмотры, как на работу. Новости были невесёлые: забастовки, протесты, грызня в верхах, вечная нехватка то того, то другого, выступления «красно-коричневых». Булат тревожился, мрачнел. Возвращаясь на родину, делился своими тревогами и мыслями, своим пониманием обступивших страну проблем – с друзьями, со слушателями его выступлений, с читателями журналов и газет.
«А вообще всё наше общество больное. Оно живёт ещё старыми стереотипами, старой структурой. Оно не может жить энергично, по-новому. Оно учится этому, привыкает. С болью, с кровью, с ужасом». (На концерте в Киеве, 1990)
«Мы семьдесят лет деградировали, дичали. Знаете, есть замечательный пример из Библии. Когда Моисей уводил евреев из египетского плена, он вёл их сорок лет вместо пяти дней, чтобы вымерло поколение, которое было рабами, и чтобы появились люди, свободные от чувства рабства. А мы – не просто рабы, которые страдают от тягот, мы – профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством.. » (Из интервью в Донецке, февраль 1991.)

Переживаемые им «муки прозрения» прорывались у него в таких строках:
Нет, не от гриппа или умопомрачения,
не на фронте, не от пули палача –
как обидно умереть от огорчения,
раньше времени растаять, как свеча...

В 1996 году у Булата появилось четверостишие, в котором несколькими словами очерчен конечный вывод о прожитой жизни и о стране, в которой она прошла:

Ничего, что поздняя поверка.
Всё, что заработал, то твоё.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про неё.

Ниточка и ножницы
В интервью газете «Подмосковные новости», процитированном выше, Окуджава невольно воспроизвёл образ из своей ранней песенки о висящем на ниточке бумажном солдате: «У нас сейчас большевистское общество, которое пытается создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено». Далее следует фраза, смысл которой понятен без объяснений лишь тем, кто помнит, что за два месяца до интервью, в октябре 1993 года, в Москве была подавлена попытка коммуно-фашистского переворота: «И когда мы видим, что к этой ниточке тянутся ножницы, мы должны как-то их отстранить. Иначе мы проиграем, погибнем, ничего не создадим».

Ножницы, подбиравшиеся к ниточке, на которой было подвешено будущее России, находились тогда в руках хасбулатовых, руцких и баркашовых. Увы, то, что не получилось у них, вполне удалось их преемникам, перерезавшим ниточку под одобрительные крики толпы. Страна, так и не увидев настоящего дневного света, вновь погружается во мглу. И всё же есть выход у её жителей, и подсказан он тем же Булатом Шалвовичем Окуджавой, подарившим своим согражданам под конец жизни такую вот грустную улыбку:

Дойдя до края озверения,
в минутной вспышке озарения,
последний шанс у населения –
спастись путём переселения.

***

…Булат Шалвович любил хорошую шутку. Не сомневаюсь, что ему бы понравилась и эта, весны 2014 года, услышав которую, он наверняка бы вспомнил о почудившемся ему когда-то Иване, въезжающем на танке на Святую Землю:

A Russian guy is entering the US.
He is at the customs.
Customs agent looks at his passport and asks:
– Nationality?
– Russian.
– Occupation?
– No, just visiting...**

---
*Агорафобия – боязнь открытого пространства.
**В американскую таможню входит пассажир из России.
Предъявляет паспорт. Чиновник:
– Национальность?
– Русский.
– Профессия? (Другое значение – «оккупация»)
– Нет, что вы! Просто погостить...

Владимир Фрумкин *– музыковед, журналист, эссеист, выпускник теоретико-композиторского факультета и аспирантуры Ленинградской консерватории. В 1974 эмигрировал в США, работал в Оберлин-колледже (штат Огайо) и Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт). С 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы "Голоса Америки" в Вашингтоне. Среди опубликованных работ - "От Гайдна до Шостаковича", два сборника песен Б.Окуджавы на русском и английском языках с нотной строчкой и буквенным обозначением аккордов, "Певцы и вожди" ("Деком", 2005). Живет в Маклейне – вирджинском пригороде Вашингтона.*

ЮРИЙ ОКУНЕВ

НЕКТО РОЗИНЕР

Тропой альпийской в снег и мрак
Шел юноша, державший стяг.
И стяг в ночи сиял, как днем,
И странный был девиз на нем:
Excelsior!

Горели в окнах огоньки,
К уюту звали очаги,
Но льды под небом видел он,
И вновь звучало, словно стон:
Excelsior!

.....

И труп, навеки вмерзший в лед,
Нашла собака через год.
Рука сжимала стяг, застыв,
И тот же был на нем призыв:
Excelsior!
.
Меж ледяных бездушных скал
Прекрасный, мертвый он лежал,
А с неба, в мир камней и льда
Неслось, как падает звезда:
Excelsior!

Генри Лонгфелло[1]

Скажите честно, уважаемый читатель, скажите сразу, навскидку – вам говорит что-нибудь фамилия Розинер? А если с именем – Феликс Розинер? Я невзначай задал эти вопросы нескольким десяткам моих друзей и знакомых – людей образованных и читающих, среди них – даже с литературно-филологическим образованием. Большинство мною спрошенных не знали, кто такой Феликс Яковлевич Розинер.

Как получилось, что мы едва ли не проглядели этого нашего замечательного современника, диссидента-шестидесятника, поэта, прозаика, эссеиста, барда, автора стихов, рассказов, пьес, повестей и романов, удостоенных престижных литературных премий в Париже, Иерусалиме и Санкт-Петербурге? Наконец, почему интеллигенция, столь чувствительная к преступлениям тоталитарных режимов, так вяло среагировала на один из лучших антитоталитарных романов мировой литературы второй половины XX века? Почему этот выдающийся роман, подпольно написанный Феликсом Розинером в Москве в глухие времена брежневской коммунистической диктатуры и переведенный

---

[1] Отрывок из знаменитого стихотворения «Excelsior» в переводе В.В. Левика.

впоследствии на французский, английский, иврит и другие языки, вообще мало кому известен? Почему его автор, номинированный на Нобелевскую премию, что не так уж часто случалось в русской литературе, даже не был упомянут ни в российском «Большом энциклопедическом словаре» 1999-го года, ни в энциклопедическом словаре «Русская литература» 2001-го года, ни в «Новом энциклопедическом словаре» 2007-го года? Почему в самом популярном в России книжном интернет-магазине www.ozon.ru про этот роман века скучно сказано – «Букинистическое издание [sic!] – Нет в продаже»!?
Неудержимое желание написать хотя бы краткий очерк о Феликсе Розинере и его великом романе возникло у меня, когда мне показалось, что я нашел ответы на эти вопросы. Но найти не значит смириться, ибо невыносимо печальными остаются как сами вопросы, так и ответы на них. Как ужасен факт скоропалительного забвения творческого достижения столь огромного масштаба, равно как и факт забвения творческого подвига нашего современника даже не через поколение, а сразу, немедленно, тут же... «не приходя в сознание». Как отвратительны плохо прикрытые фиговыми листками пресловутых «духовных скреп» попытки искусственного отторжения выдающегося писателя от русской литературы.
Один из персонажей романа Феликса Розинера говорит: «*Прекрасно в искусстве все, на чем нет мертвой заботы запечатлеть себя... Прекрасно в искусстве все, что не осознало себя... Прекрасно в искусстве все, что не ищет огласки.*» Допускаю, что Феликс Яковлевич, подобно главному герою своего романа, так и думал, а вернее – именно так ощущал тайную связь между творцом и творением, но мы – те, кому, в конце концов, досталось творение, не имеем права забывать творца...

Через все перипетии эмигрантской жизни с ее многочисленными переездами и нелитературными заботами пронес я незаметный томик этой книги в скромной (самодельной, наверное) желтой обложке без надписей и рисунков, за чтение и даже хранение которой в Советском Союзе начала 80-х годов, как говорится, сажали. На титульном листе незатейливая надпись: **Феликс Розинер НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР** Роман OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD LONDON 1981
Не помню имени той женщины, которая принесла нам на квартиру в Ленинграде и оставила почитать стопку запрещенных книг – стихи Мандельштама и Цветаевой, «Реквием» Ахматовой, «Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, «Некто Финкельмайер» Розинера, еще что-то... Шел 1982 год, коммунистический режим впадал в старческий маразм в прямом и переносном смысле, но отнюдь не собирался разжимать бульдожьи челюсти – где-то через полгода ту женщину-диссидентку арестовали за «распространение антисоветской литературы». Об этом нам сообщил ее муж: «Идет следствие, в изъятой записной книжке жены есть ваш телефон – срочно избавьтесь от книг». Пришлось переслать «крамольную» литературу в надежное место, но томик «Некто Финкельмайер» остался, затерявшись в огромной домашней библиотеке – уж очень неприметным и безобидным казался он на фоне многотомных изданий русской и мировой классики. На самом же деле только, может быть, «Архипелаг ГУЛАГ» превосходил по «антисоветской зловредности» роман Феликса Розинера.
Роман был окончен в 1975 году, во времена самого что ни на есть ядовитого цветения брежневско-сусловского партийного руководства. Ни малейших надежд на его публикацию в СССР, конечно, не было, и вопрос заключался лишь в том, как переслать

рукопись за границу и тем самым сохранить ее для потомков. Складывалась ситуация, подобная той, в которую попал Василий Гроссман со своим великим романом «Жизнь и судьба» за десять с лишним лет до того, с тем лишь отличием, что у Гроссмана была хотя и наивная, но крошечная надежда на публикацию романа на родине на волне хрущевской оттепели, а у Розинера уже не было никаких иллюзий или надежд. Известный филолог и публицист Азарий Мессерер, близко знавший Феликса Розинера еще по Москве, рассказывает любопытную историю спасения романа:

«Феликс, инженер по образованию и человек незаурядно изобретательный, придумал хитрый план контрабандной пересылки своего первого романа на Запад. Он переснял весь роман и, как ему показалось, ловко запрятал кассеты с пленкой в багаже четырнадцатилетнего сына, когда тот в 1977 году улетал в Израиль с первой женой Феликса. Увы, бдительных советских таможенников провести не удалось – кассеты были конфискованы. Феликс расстроился, но ненадолго – он умел с юмором воспринимать неприятные события. А для разрядки от стресса сочинил песню о том, как его роман попал в лапы КГБ, с едко ироничным припевом: “Хоть какой-никакой, есть теперь у романа читатель!” Со временем ему все же удалось переправить “Финкельмайера” на Запад с моей помощью и с помощью американских корреспондентов, с которыми я познакомился, сидя в отказе.»

Пересказывать содержание романа «Некто Финкельмайер» – дело пустое, бесмысленное. Роман этот не терпит банальности, он чурается простоты – той, которая хуже воровства, он сам по себе вызов тривиальности и «общепринятости» как по содержанию, так и по форме. Слова, наши обыденные слова, бессильны передать блеск словесной вязи романа Феликса Розинера, которому, подобно его герою в поэзии, удалось в прозе «*придать словам зыбкость, лишить их фиксированных значений, придать словам текучесть, а тексту подвижность*». Таинственное библейское изречение «В начале было Слово...» напрямую относится к роману Розинера, ибо оно, розинерское Слово с большой буквы, с его темпом, динамикой, паузами и даже пропусками задает и ведет сюжет, формирует множественные импровизации и образы романа. Не угнаться нам за этим словом на пределе возможного...

И тем не менее, рискну высказать несколько мыслей о том, что паразило меня лично в романе едва ли не с первых страниц, поделиться впечатлениями чисто читательскими, без всяких претензий на литературоведческий анализ...

Аарон-Хаим Финкельмайер

Вспоминаю, что при первом чтении романа «Некто Финкельмайер» меня особенно поразила его необычная по тем временам, стержневая тема: столкновение с реальной жизнью и страдания гениального поэта, вынужденного сочинять и публиковать свои произведения от имени другого человека.

Феномен творчества под чужим именем, вообще говоря, хорошо известен во всем мире. До сих пор некоторые литературоведы предполагают, что автор великих шекспировских драм и сонетов по каким-то причинам скрыл свое подлинное имя и приписал эти шедевры другому человеку. Абсолютно достоверных примеров из близких нам времен очень много. Румынский писатель Михаил Себастиан (Иосиф Гехтер), автор знаменитой пьесы «Безымянная звезда», в годы Второй мировой войны издавал свои произведения под румынскими именами, т.к. евреям было запрещено публиковаться в фашистской Румынии. Вспоминаю также, что известный французский композитор Жозеф Косма́, автор

популярной мелодии «Опавшие листья», в годы оккупации Франции нацистами публиковал музыкальные сочинения через подставных лиц, чтобы не раскрыть свое еврейское происхождение. В Советском Союзе, как теперь хорошо известно, широко практиковалось подобного рода творчество, равно как и использование наемных анонимных авторов для написания «гениальных произведений» партийных вождей – тоталитаризм, партийно-государственная диктатура несомненно провоцируют и стимулируют разнообразные формы лжеавторства.

Феликс Розинер, по-видимому, впервые в русской литературе, доводит сюжет лжеавторства до чудовищного гротеска. В соответствии с партийными планами «строительства национальных культур», всем народам Советского Союза, в том числе не имеющим своей письменности малым народам Севера, предписано иметь национальных писателей и поэтов. Аарону-Хаиму Финкельмайеру, уже отличившемуся в качестве казенного поэта под псевдонимом А. Ефимов в армейской газете, предлагают писать стихи от имени тонгорского охотника Данилы Манакина под псевдонимом Айон Неприген. Аарон соглашается участвовать в мистификации в надежде подзаработать и заодно опубликовать свои стихи, у которых в противном случае нет решительно никаких шансов быть напечатанными.

Сюжет этот масштабно развивается в совершенно гротескном варианте, напоминающем романы Франца Кафки, – реалистично вырисованные и хорошо узнаваемые детали советской жизни непринужденно вписываются в совершенно абсурдную в целом ситуацию. Малограмотный пьяница Манакин, благодаря невероятному успеху поэзии Финкельмайера, становится крупным чиновником в области управления культурой, известным поэтом, членом Союза советских писателей. Поверив в свою полную безнаказанность и правоту, он, в конце концов, окончательно присваивает себе произведения Финкельмайера, который, в свою очередь, даже и не собирается отстаивать авторство – «*прекрасно в искусстве все, что не ищет огласки*». Эта стержневая линия романа завершатся вполне кафкианской жуткой развязкой с блестяще прорисованными житейскими деталями на общем фоне огромного абсурдистского концлагеря где-то на далеком Севере.

Обозначив главным героем романа Аарона Финкельмайера, автор с первой же страницы вводит в повествование другую не менее важную фигуру – Леонида Никольского. Русский интеллигент, профессионал, умница, аристократ по духу, яркая личность с взрывным темпераментом, Никольский является движителем сюжета, в котором Финкельмайер – центральный субъект рассмотрения. Никольский талантлив во всем, кроме своей собственной жизни. В замечательном размышлении о счастливых и несчастливых людях в самом начале второй части романа, Никольский признается, что «*никогда не умел... подумать о себе, что счастлив»*. Более того, он уверен, «*что окружающая его жизнь паскудно устроена – потому, помимо прочего, паскудно, что в ней просто-напросто не может выпасть тот единственный, нужный ему шанс, так как в этой сволочной жизни подобного шанса вовсе не существует...*»

Внезапно Никольский увидел такой «единственный, нужный ему шанс» во встрече с поэзией Финкельмайера, и теперь их судьбы неразделимы. Поначалу представляется, что между Никольским и Финкельмайером неизбежен конфликт – конфликт двух самодостаточных личностей с противоположными темпераментами, тем более, что они влюблены в одну и ту же женщину, обаятельную ссыльную литовку Дануту (еще один блестящий образ в галерее выразительных и запоминающихся женских образов романа).

Конфликта, однако, не происходит, а взаимное притяжение главных героев романа, напротив, усиливается. Это – притяжение двух частиц с противоположными зарядами, это – притяжение гения и таланта. Дмитрий Быков, сравнивая поэзию Булата Окуджавы и Александра Галича, как-то высказал мысль о том, что нет ничего более противоположного, чем гений и талант. Это на первый взгляд парадоксальное заключение, по-видимому, имеет право на обсуждение. Действительно, гению противостоит не бездарность, которую он просто не замечает, ему противостоит талант, к которому гения, круглого сироту в этом мире, притягивает творческий заряд противоположного знака. С другой стороны, в мощном поле гения талант не может противостоять искушению приблизиться к своему наивысшему воплощению. Такие мысли приходят на ум при сопоставлении образов Никольского и Финкельмайера.

***

История судеб и взаимного притяжения Никольского и Финкельмайера вписана автором в обширную картину жизни кружка московских интеллигентов начала 1960-х годов. Время действия романа обозначено довольно четко: конец хрущевской оттепели, время демократических устремлений и надежд советской интеллигенции, получивших название движения «шестидесятников». Эти надежды были окончательно утрачены после знаменитого посещения Никитой Хрущевым выставки непризнанных художников в декабре 1962 года. Лидер страны охаял работы художников-авангардистов словами «дерьмо», «говно», «мазня», а затем, сорвавшись на крик, приказал:

«Я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! … Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!»

Герои романа «Некто Финкельмайер» пытались спасти «это безобразие» – работы непризнанных властью художников, и они, естественно, попали под предписанное партийным вождем «выкорчевывание». Автор отнюдь не фокусирует внимание на противостоянии интеллигенции режиму, его герои едва ли не насильственно втягиваются в это противостояние карательными органами самого режима, которым приказано заниматься «выкорчевыванием». В романе абсолютно отсутствует прямая политическая борьба московских интеллигентов с режимом, которую, возможно, ожидают от шестидесятников современные читатели. Их встречи напоминают скорее некие богемные собрания наподобие вечеров петербургской творческой элиты начала XX века в Башне Вячеслава Ива́нова. Описанное в романе Прибежище – это оскверненная советской действительностью, искаженная до гротеска Башня, где роль лидера, вместо блистательного поэта-символиста Вячеслава Ива́нова, выполняет не менее блистательный лектор-эрудит Леопольд Михайлович, бывший официант ресторана «Националь». Феликс Розинер очень точно и выразительно описал постепенную эволюцию этих собраний и ту внутреннюю нравственную пружину, которая толкала людей участвовать в них:

«...забавы Прибежища становились от раза к разу серьезнее... в них появилось общее направление, и уж не развлекать, не развлекаться и “кадриться” шли сюда, а шли уже, – не осознавая того разумом, а как будто одним слухом ушей своих и видением глаз, да еще самим свободным дыханием в свежем воздухе – шли возвыситься, очиститься от скверны, которую слышали, наблюдали и частью которой были сами.»

Культуролог и писательница Марина Хазанова пишет о романе Феликса Розинера – «*Книга его не была радостной но была теплой, доброй, умной*» – и добавляет – «*Я сказала Феликсу об этом и о том, что книг о шестидесятых здесь, в эмиграции, достаточно, но они, в основном, о ссорящихся между собой диссидентах, ненависти к власти и о собственном величии. А вот добрых книг почти нет*». Марина вспоминает, что Феликсу очень понравилась такая оценка, и он сказал: «*Такого мне еще никто не говорил*».

Как свидетель протестного движения в СССР 1960–70-х годов, могу добавить: в этом движении были и ненависть к власти, пытавшейся снова загнать народ в «реформированное» подобие сталинского концлагеря, и резкая полемика, и подпольное распространение так называемой «антисоветской литературы», которая была, на самом деле, просто нормальной хорошей литературой, и воистину героические публичные протесты против преступлений режима, и еще многое, без чего не бывает диссидентских движений в тоталитарном обществе. Однако Розинер тонко уловил главный мотив самой обширной, гуманистической составляющей этого движения – «*очиститься от скверны, которую слышали, наблюдали и частью которой были сами*». Да, это именно так и было – мы собирались в компаниях единомышленников, чтобы очиститься от скверны тошнотворных политзанятий и митингов, «ценных» указаний парткомов и райкомов, от скверны тупой пропаганды в средствах массовой дезинформации и примитивного печатного советского агитпропа. Мы собирались, подобно героям романа Розинера, чтобы подышать свежим воздухом фантома свободы.

Ощущения российской интеллигенции времен конца 60-х и начала 70-х годов, обманутой миражем свободы и увидевшей явные признаки возвращения сталинщины, хорошо передает дневниковая запись Юрия Нагибина, сделанная в 1969-м: «...никак не могу настроить себя на волну кромешной государственной лжи. Я близок к умопомешательству от газетной вони, и почти плачу, случайно услышав радио или наткнувшись на гадкую рожу телеобозревателя... Стоит хоть на день выйти из суеты работы и задуматься, как охватывают ужас и отчаяние. Странно, но в глубине души я всегда был уверен, что мы обязательно вернёмся к этой блевотине. Даже в самые обнадёживающие времена я знал, что это мираж, обман, заблуждение, и мы с рыданием припадём к гниющему трупу. Какая тоска, какая скука! И как все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; у большинства не было на это сил... Люди пугались даже призрака свободы, её слабой тени. Сейчас им возвращена привычная милая ложь, вновь снят запрет с подлости, предательства...»

В Прибежище Феликса Розинера собирались люди, стремившиеся очиститься от скверны советского мракобесия, пытавшиеся духовно противостоять «отупению, низости, немоте». Писатель создал образы людей, «душевно готовых к достойной жизни, жизни разума и сердца». В их добрых и умных устремлениях, не содержавших, казалось бы, никакой угрозы всесильному государству, содержался, на самом деле, скрытый диссидентский заряд, подорвавший, в конце концов, режим тоталитарного насилия.

***

Эту скрытую, едва различимую на первых порах угрозу несомненно предвидели власть предержащие – отсюда та упорная охота за, казалось бы, совершенно безобидной группой интеллектуалов Прибежища, закончившаяся, как и следовало ожидать, арестом самого

безобидного из всех безобидных – Аарона-Хаима Финкельмайера. Арест Финкельмайера и суд над ним, начиная с публикации грязного доноса в газете и кончая жестоким избиением сразу же после вынесения приговора, – всего более 60 страниц текста, – композиционная и художественная вершина романа Феликса Розинера.

Писатель несомненно был знаком с материалами судебных процессов над поэтом Бродским и писателями Синявским и Даниэлем, проходивших в Ленинграде и Москве в 1964-65 годах. Особенно сильное влияние на описание суда над Финкельмайером, вероятно, оказали записи судебных слушаний по делу Иосифа Бродского, опубликованные в Самиздате Фридой Вигдоровой под названием «Судилище». Здесь можно найти немало фактических совпадений, которые автор, судя по всему, намеренно подчеркивает, – начиная с таких деталей как публикация клеветнической статьи перед арестом[2] и обвинение в тунеядстве, и кончая буквальным совпадением некоторых словесных формулировок подлинного процесса и вымышленного Розинером судилища. Если я не ошибаюсь, Феликс Розинер впервые в русской литературе советских времен дал столь обширное художественное описание подобного судилища над совершенно беззащитной творческой личностью. Противостояние поэта и чудовищного, отлаженного до последнего винтика механизма государственного беззакония, торжество мракобесия, основанного на лжи и грубом насилии – все это показано в романе с убедительностью и художественной мощью, превосходящими любые исторические, документальные свидетельства. Вспоминаю, какое огромное впечатление произвели на меня в свое время эти 60 страниц романа – словно сама скверна, частью которой, увы, мы сами были, безобразно выползла наружу...

При повторном чтении романа Феликса Розинера в более поздние времена меня не оставляли ассоциации с «Процессом» Франца Кафки и даже со знаменитыми антиутопиями XX века – «Мы» Евгения Замятина и «1984» Джорджа Оруэлла. Доведенный до гротеска абсурд, нелепые обвинения или даже их отсутствие, предопределенность приговора и наказания, страх перед идолом государства – госстрах... Может быть, эти ассоциации неправомерны? Не знаю... Ведь то, о чем написал Феликс Розинер, – не плод обращенной в будущее фантазии, а подлинные реалии нашей жизни, ведь это было, было... и, страшно сказать, это есть – бесчеловечное и жестокое...

Больной, голодный, измученный следствием, Финкельмайер словно в бреду, едва не теряя сознание, отстраненно участвует в процессе над самим собой, пытается время от времени говорить правду словами простыми, понятными окружающим... После зачтения приговора он впадает в транс, расплывчато видит сквозь туман уходящего сознания своих близких, слышит их молитвы и мольбы..., и сквозь всю эту мешанину лиц и звуков нисходят к нему чудные поэтические строки... Как он далек от этого мира!..., но конвойный скоро возвращает его к действительности:

«Старшина исступленно бил по рукам, – Арон, дико вскрикивая, хватался за дверцы, но старшина размахнулся, – ну, т-твою мать! – и сильно ударил под дых. Арон рухнул на пол».

Советское «правосудие» свершилось. Фемида с завязанными глазами не заметила, как перекосились ее весы...

---

[2] Статья «Окололитературный трутень» была опубликована в газете «Вечерний Ленинград» 29 ноября 1963, а 13 января 1964 Бродский был арестован; в романе Финкельмайер арестован в день опубликования статьи «Некто Финкельмайер – «поэт».

И еще одно: как это все, простите за публицистический штамп, актуально! – темы и образы великого произведения литературы не устаревают, они, увы, бессмертны...

Окончание – в следующем номере

Юрий Окунев *– ученый в области теоретической радиотехники, писатель-публицист, автор научных монографий и книг историко-публицистического жанра на русском и английском языках. Возглавлял ведущую исследовательскую лабораторию СССР в области цифровой радиосвязи. С 1993 работает в телекоммуникационной индустрии США. В 2007 году Институт инженеров электроники (IEEE) присудил ему награду имени Чарльза Гирша (IEEE Charles Hirsch Award) за «выдающийся вклад в теорию фазовой модуляции и разработку мобильных систем радиосвязи».*
Юрий Окунев опубликовал несколько книг и большое число очерков на русском и английском языках: историко-мемуарную книгу «Письма близким из XX века», новеллу-антиутопию «The Lost War – Проигранная война», сборник эссе на темы еврейской истории и философии «Ось всемирной истории» (книга «The Axis of World History» получила награду USA Book News – «The National 2008 Best Book Awards»), «Старческая болезнь левизны в либерализме» («The Incurable Leftist Disease in Modern Liberalism»), мемуары «Детство, которого не было...» и книгу избранного «По дороге в XXI век». Недавно вышла в свет его новая книга «Феномен еврейской культуры».
Ряд очерков Юрия Окунева опубликованы в интернет-изданиях.

СиПиП

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

ЭМ-БИ-И

Фима Гольдман пришёл ко мне тихий и расстроенный.
– Можешь меня поздравить, – грустно сказал он. – Я меняю фамилию.
– Ты что, выходишь замуж? – спросил я тревожно.
– Нет, замуж я не выхожу. Я давно состою в браке с женщиной, – отвечал Фима.
– Может быть, ты скрываешься от полиции? Или от кредиторов?
– Нет, совесть моя чиста, – сказал Фима, окончательно закручинившись. – И я никому ничего не должен. Но я понял, что с моей фамилией я далеко не продвинусь. Отныне я буду Гонзалес.
– Фима, не валяй дурака.
– Да, теперь я Гонзалес, – твердо сказал Фима. – Фернандо Гонзалес. Можешь называть меня просто Федя.
– Послушай, Фима… то есть я хотел сказать Федя, – сказал я, обращаясь к нему ласково, как к больному. – Может, выпьешь виски? Или джину с тоником?
– Ты не понимаешь, – сказал печальный Фима. – В Нью-Йорке таких, как я, инженеров – как собак нерезанных. С моим именем я тут карьеры не сделаю.
– Но почему Гонзалес?
– Потому что я не могу стать негром или китайцем.
– Ну и не надо. Зачем тебе быть негром или китайцем?
– В крайнем случае, можно быть женщиной, – сказал Фима. – Говорят, в наше время медицина достигла таких высот, что любого самого грубого мужика запросто превращает в дамочку. Но мне это не по карману. Да и жена вряд ли одобрит. Эх, да что говорить… Фима махнул рукой, вздохнул и замолк в своей непоправимой горечи. Я тоже молчал, ожидая продолжения исповеди. Наконец он снова заговорил:
– Знаешь ли ты, несчастный гуманитарий, что такое эм-би-и? Не знаешь. А что такое дабл-ю-би-и? Тоже не знаешь, куда тебе. Позволь, я объясню. Это то, слаще чего нет на свете. Это то, что приносит счастье. Эм-би-и – это майнорити бизнес энтерпрайз. Дабл-ю-би-и – уимен бизнес энтерпрайз. Понятно? Ну, на женщину я не тяну, так что дабл-ю-би-и отпадает. Остаётся эм-би-и. Это бизнес, которым владеет майнорити. Это, как ты знаешь, представитель меньшинства. Негры, китайцы, индусы, латиноамериканцы – это всё майнорити.
– Как? Китайцы – представители меньшинства? – удивился я. – Их уже чуть ли не полтора миллиарда расплодилось!
– Неважно. Они майнорити. Индусы тоже.
– А русские?
– Нет, русские не считаютя.
– А евреи? Евреев-то вообще на свете – кот наплакал.
– Евреи тоже не считаются, – сказал Фима. – Евреи – маджорити. А китайцы майнорити. Что тут непонятного? Впрочем, понимать не обязательно. Главное – быть майнорити и владеть компанией. И тогда на тебя будут сыпаться заказы, как из рога Эсмарха.

– Ты имеешь в виду рог изобилия или кружку Эсмарха?
– И то, и другое. Неважно. Главное – что по закону нашего штата инженерные заказы должны в первую очередь получать компании категории эм-би-и. Или дабл-ю-би-и. Чтобы ущемлённые майнорити или ущемлённые женщины зарабатывали в первую очередь. Вот. Понял?
– А если их не ущемляют?
– Их всегда ущемляют, – сказал Фима. – С этим всё в порядке. Но вот что делать, если заказ очень большой? Допустим, захотел наш штат построить новую дорогу. Или мост через реку. В таком проекте одной только инженрной работы на много миллионов. Тут никаких майноритев не наберёшься. Да никто им и не доверит проектировать такую крупную вещь, как мост или дорога. Тогда, конечно, штат нанимает нормальную, большую компанию без всяких этих ярлыков. Какую-нибудь всемирно известную акулу капитализма. И ставят ей условие: вы, дескать, обязаны нанять каких-нибудь майноритев в качестве своих субподрядчиков, или суб-проектировщиков. И отмусолить им, как минимум, пятнадцать, а то и двадцть процентов своего куша. Вот. Понял? Иначе – шиш вам, а не проект. И тогда эта самая акула мчится… угадай, куда? Ко мне! К скромному Фернандо Гонзалесу, который владеет скромной инженерной фирмой, которая, благодаря моей скромной латиноамерикаской фамилии, вполне законно попадает в категорию эм-би-и. И акула капитализма, виляя хвостом, умоляет меня принять участие в проекте – за хорошие деньги и без всякой инженерной ответственности, поскольку от таких, как я, миноритев никто никакой ответственности всё равно не ожидает. Вот. Понял? И мне не надо метаться в поисках заказов и не надо ни с кем конкурировать. Сказка!
– Ага, теперь понимаю, – сказал я. – Похоже на жульничество. Ты ведь на самом деле не Гонзалес, а Гольдман.
– Никакого жульничества тут нет! – рассердился Фима. – Всё совершенно законно! Мало ли, кем я был в прошлом! Теперь по документам моя настоящая фамилия Гонзалес и, значит, моя компания на законном основании попадает в категорию эм-би-и. Понял? То-то же. Давай, пожалуй, виски. Или нет, лучше сделай “Маргариту”: мне теперь надо привыкать к текиле…
Мы выпили за Фимин успех в качестве майнорити, после чего я не видел его почти год. Он был занят делами своей фирмы, а я метался по издательствам и сочинял письма, стараясь заинтересовать кого-нибудь изданием свей книги. В общем, жизнь струилась по своему предначертанному руслу.
И вот однажды Фима появиля. Он подъехал на роскошном “Мерседесе”, модели ещё не наступившего года, и вышел из машины через заднюю правую дверь. За рулём сидел пожилой шофёр испаноязычного вида в фуражке. На Фиме были дорогие ботинки и фиолетовая рубашка с вышитыми инициалами ФГ. Тяжелый перстень на его левом мизинце разбрызгивал лучи благополучия.
– Привет, старик, – сказал он так, как будто мы виделись сегодня утром. – Есть разговор.
– Фима! – закричал я, с трудом приходя в себя от вида рубашки с инициалами. – Как дела,Фима? Хочешь “Маргариту”?
– Давай лучше текилу в чистом виде. У тебя есть лайм?
Он выдавил четвертинку лайма на тыльную часть руки, между большим и указательным пальцами, посыпал солью, потом хлопнул рюмку текилы и зализал посоленное место, подобно собаке, зализывающей рану на лапе.

– Хорошая текила, – сказал он, причмокнув. – Вообще-то меня полагается называть сеньор Гонзалес. Но для друзей – так и быть, пока никто не слышит – я просто Федя. Дела мои – как нельзя лучше. Я завален заказами, гребу деньги лопатой. И ничего делать не надо. Я просто изнываю от безделия. Даже думаю заняться живописью, чтобы убить время. Буду писать задумчивые пейзажи. Или, наоборот, портреты знаменитостей.
– Погоди, Фи… Федя. Я не понимаю: если ты завален заказами, почему ты говоришь, что тебе нечего делать?
– А чего тут понимать. Мои заказчики сами всё за меня делают. Я тебе уже объяснял, что мои заказчики – это крупные инженерные фирмы. Профессионалы высочайшего класса. Они таким, как я, ничего делать не доверяют. Налей-ка ещё.
Я налил, и мы тяпнули по второй.
– Я, вообще-то, к тебе по делу, – сказал Фима, долизав свою руку. – Понимаешь, мне от этих инженерных акул капитализма отбоя нет. Заказов у меня по горло, но они хотят дать ещё больше. А я больше не могу. Всему есть предел.
– Какой может быть предел, если ты всё равно ничего не делаешь?
– Только это между нами, – сказал Фима. – Штатная администрация начинает косо смотреть на меня. Идут разговоры вроде “Как это компания Гонзалес Инжениринг может одновременно выполнять столько заказов?” Ну и всё такое. Добром это не кончится. Поэтому я и пришёл к тебе.
– Как же я могу тебе помочь?
– Очень просто. Открой свою инженерную компанию, эм-би-и.
– Ты меня с кем-то путаешь, Федя. Я не инженер.
– Какая разница – инженер ты или нет? – поморщился Фима. – Это детали. От тебя никто ничего не ждёт. И ничего делать не надо. Только получать деньги.
– Ага. И половину отдавать тебе, – догадался я. – Знаешь, как это называется? Взяточничество. Оба сядем в тюрьму.
Моё невинное предположение вызвало совершенно неожиданную реакцию. Фима рассвирепел.
– Как ты смеешь подозревать меня в мошенничестве? – закричал он, разбрызгивая слюну. – Тоже мне, друг! Лучше налей ещё рюмку.
Выпив и успокоившись, он объянил:
– У тебя будет своя фирма, тоже эм-би-и, но она будет моим субподрядчиком. Часть своих заказов я буду передавать тебе. За то, чтобы управлять тобой, я буду на законном основании получать 10 или 15 процентов от стоимости работы. Остальное твоё. Будешь грести деньги лопатой. Но тебе придётся сменить имя, чтобы твоя фирма попадала в категорию эм-би-и. Ты будешь Хулио Мартинес.
– Ну, Мартинес – я понимаю, – нехотя согласился я. – Где Матлин, там и Мартин. Где Мартин, там и Мартинес. Но почему Хулио? Ты на что-то намекаешь?
– Не хочешь Хулио – не надо. Будешь Хавьер. Или Хуго.
– А что, это обязательно, чтобы моё имя начиналось на хэ?
Фима почему-то снова рассердился, и я испугался за свою будущую инженерную карьеру.
– Ладно, ладно, я пошутил, – сказал я примирительно. – Хулио – так Хулио. А для друзей – просто Ху. Для близких друзей могу быть даже Ху-Ху. Только вот грести лопатой я побаиваюсь. Поясница болит.
– Ну и дурак, – сказал Фима, хлопнул дверью и снова пропал надолго. Время от времени мы с ним перезванивались и обменивались имейлами, но встречаться было некогда.

Оказалось, что Фима теперь занят по горло. Он боролся за права нелегальных иммигрантов из стран Латинской Америки. Правда, он не называл их нелегальными. Если я в разговоре употреблял это слово, Фима гневался и обвинял меня в расизме. Он требовал, чтобы я называл их “обездокументеными гражданами”.
Но вот в какой-то момент Фима перестал отвечать на мои редкие имейлы и ещё более редкие звонки. Наше общение оборвалось. Я пытался найти Фиму через общих знакомых, но они, так же, как и я, ничего про него не знали. По прошествии нескольких месяцев я запаниковал и решил проверить Фиму по месту жительства. Конечно, являться к человеку без звонка неприлично, но у меня не оставалось выбора.
Фима оказался дома. Он сидел перед зеркалом в плюшевом халате, надетом поверх фиолетовой рубашки, и сосредоточенно выдавливал из подбородка прыщ. Увидев меня, он не проявил ни радости, ни, хотя бы, удивления. Я сказал, стараясь выдержать дружелюбный тон:
– Привет, Федя! Как дела?
– Привет, – сказал Фима, не отвлекаясь от прыща. – Никаких дел нет. Я закрыл свою эм-би-и. И я больше не Федя.
– Что случилось?
– Что, что – капитализм. Я не выдержал конкуренции. Появился какой-то шустрый хмырь из Эквадора, открыл свою эм-би-и и начал писать заказчикам письма про меня. Что я, дескать, никакой не майнорити, а самый обыкновенный еврей из России. И все акулы испугались давать мне заказы. Я хотел объясниться с этим эквадорцем, но – бесполезно. Он по-английски ни бум-бум. А по-испански я кроме “фак ю” ничего не знаю.
– Это по-английски.
– Тем более, – сказал Фима, поморщившись от боли в прыще. – В общем, эм-би-и мне больше не светит. Так что, я решил стать женщиной. Сделаю операцию, поменяю имя и открою свою дабл-ю-би-и. Вот. Понятно? Буду миссис Фернандита Гонзалес. Можешь звать меня просто Фроня.
– А как на это посмотрит твоя жена?
– Жена от меня давно ушла, – сказал Фима, не проявляя эмоций. – Она, наконец, разобралась в самой себе и поняла, что не рождена для разнополового брака. И ушла к другой такой же.
Фима покончил с прыщом и принялся выщипывать брови.
– Вот стану женщиной, может, вернётся, – добавил он со вздохом.
После этого я опять долго не видел Фиму и не разговаривал с ним. На имейлы он отвечал редко и неохотно, на звонки – почти никогда. До меня доходили слухи, что Фима снова гребёт деньги лопатой, купил яхту и основал фонд помощи женщинам стран Латинской Америки имени самого себя.
Но однажды он вдруг позвонил.
– Привет, старик! – сказал он красивым грудным голосом. – Это я, Фроня. Узнаёшь?
– А как же! – радостно закричал я. – Конечно, узнаю!
– Ах, я так и думала, что ты меня узнаешь, – жеманно сказал Фима. – Ведь мы старые друзья, правда? У меня к тебе просьба. Подпиши, пожалуйста, петицию в защиту прав женщин.
– Тебя ущемляют в правах?

– Ещё как! – сказал Фима. – Ты знаешь, что женщинам недоплачивают, по крайней мере, восемнадцать процентов их заработка? А ты знаешь, что на высоких руководящих позициях женщин на двадцать два процента меньше, чем мужчин? И что одиноких матерей на тридцать процентов больше, чем одиноких отцов? Если у тебя есть ещё какие-то вопросы, можешь спрашивать.
– Да нет, вроде, всё я ясно – смущённо пробормотал я. Впрочем, есть один вопрос: как ты предпочитаешь писать – сидя или стоя?
– Конечно сидя, – сказал Фима. – Что я, Хемингуэй?
– Ты меня не понял. Не писАть, а пИсать. Сидя или стоя?
– Ты дурак, – сказал Фима грудным голосом. – Расист. Шовинист. Свинья паршивая. Не смей больше мне звонить.
Он бросил, трубку, и с тех пор мы никогда не виделись. Но вопрос, который так и остался без ответа, мучает меня по сей день.

Александр Матлин *– инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.*
Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале “Крокодил”.
В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике "Панорама" (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля. В том числе и в журнале “Время и место”.
В Москве в издательстве “Вагриус” вышла книга Матлина “На троих с ЦРУ” – полное собрание избранных рассказов и стихов. Недавно в ньюйоркской издательстве Mir Collection увидела свет его новая книга рассказов на русском и английском языках: 2=1.

Автор обложки

ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО: Я ПРИШЕЛ ИЗ ДЕТСТВА…

Олег Денисенко родился во Львове в 1961. Окончил Украинский институт печати (сейчас Украинская академия печати) по специальности "Графика". Деятельность: гравюры, картины, скульптуры, книжная графика.
Он провел более 200 персональных и групповых выставок в таких странах как Украина, Словакия, США, Польша, Югославия, Корея, Румыния, Испания, Италия, Германия, Великобритания и др… Отмечен 27 международными наградами, которые он получил на выставках. Член Национального союза художников Украины. Кроме того, член научных деятелей Римской академии художеств.
Его работы находятся в более чем 20 государственных и частных коллекциях, музеях Европы, Америки и Азии.

Личность украинского художника Олега Денисенко, персональная выставка графики, живописи, книги и пластики которого под названием «Артхимия» некоторое время назад состоялась в престижной галерее «Дзига» во Львове, стала открытием для его земляков. Любители убирать не только вещи, но и людей в отдельные ящички, одни львовяне бросились приписывать его творчеству неоренессансные тенденции, другие – причислять ее к романтическому сюрреализму, но значительно больше было тех, кто просто удивлялся, что до сих пор об Олеге Денисенко ничего не слышали.
А между тем художник, которого редко увидишь на традиционных тусовках богемы и который считает, что он не художник, а просто рисует (поскольку художников в истории – единицы) – не только автор и участник многочисленных зарубежных выставок, но и обладатель многих международных наград.

Вот интервью с ним более чем десятилетней давности:
– Клод Моне очерчивал свою живопись словами: «Я рисую так, как поют птицы». Как бы вы определили собственное творчество?
– Не пением птиц уж точно. Наверное, я сравнил бы его с перелистыванием древних книг или каких-то манускриптов или, в крайнем случае, с экскурсией по залам исторических музеев.
– Вы считаете, что старинные манускрипты для современника актуальны?
– Вполне. Дело в том, что многие древние знания, которые были накоплены человечеством на протяжении многих лет, сейчас несправедливо заброшены и забыты. Возможно, сегодня не время всем этим заниматься. Но как когда-то алхимики пытались найти философский камень, с помощью которого пытались превратить свинец в золото или изобрести эликсир вечной молодости, так сегодня художники (артхимики) пытаются неблагородное превратить в благородное. Современным профессионалам это удается. Фактически из ничего - бумаги, красок и т.д. – они создают произведение искусства, которое превращается в золото и в прямом, и в переносном смысле. И именно это произведение искусства становится искомым многие века эликсиром вечной молодости: художника уже нет, а его работа живет и продолжает нести грядущим богатство и тепло его души.
– Олег, откуда у вас – современного человека – такое увлечение средневековьем? Ведь

вашу «Артхимию» можно считать путешествиями в причудливое прошлое.
– Из детства. Я твердо убежден, что именно там, в детстве, корни творчества каждого художника. Маленьким я мечтал, что в будущем стану работать только археологом. И, соответственно, сначала только листал, а потом и читал литературу соответствующего толка. Историческая литература много иллюстрируется старинными гравюрами, ведь это самые доступные для перепечатки произведения. И потом меня всегда интересовали периоды ренессанса и готики — а это еще и художники Дюрер, Брейгель, Кранг и другие, творчество которых соответственно оставило на моем сознании свой отпечаток. И я увидел интересную вещь: эстетика того времени дает невероятно большое пространство для фантазии и оригинальных композиций, которая подсказывает интересные пластические ходы. Такие, каких в современности не найдете.
Но замечу: я не занимаюсь иллюстрированием литературы определенного периода и не цитирую материальную культуру какой-то эпохи, а просто делаю определенную привязку по состояниям. Скажем, применяю имитацию старых шрифтов, которые создают определенное настроение в работе. И как раз этим, какмне кажется,, заинтересовываю своих зрителей.

Н. Н.